

Надя Алексеева
Полунощница
РОМАН

*Маленький остров.
Большая история.*



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Проза нашего времени (АСТ)

Надежда Алексеева

Полунощница

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

Алексеева Н.

Полунощница / Н. Алексеева — «Издательство АСТ»,
2023 — (Проза нашего времени (АСТ))

ISBN 978-5-17-161458-4

Надя Алексеева родилась в 1988 году в Подмосковье. Окончила мастерские драматургии и прозы СWS, печаталась в «Юности», «Дружбе народов» и «Новом мире». Стала финалистом «Любимовки» и «Лицея». «Полунощница» — ее дебютный роман. Валаам сплетает судьбы и сталкивает эпохи. Москвич Павел едет на остров искать родню, восстанавливая историю сорокалетней давности. В семидесятые в бывших кельях — интернат, где доживают свой век ветераны ВОВ и их семьи. Там оканчивает школу и мечтает стать врачом Семен. Его моторка летит, раскидывая Ладогу на два белых уса, и греются на отмели нерпы, и с берега тянет кострами, и гудит уцелевший с войны колокол. Совсем скоро этот мир рухнет из-за выстрела финской винтовки... «Полунощница» — роман о семейных узах, исцелении давних ран, мостах между «чужаками» и чудесах, которые случаются.

УДК 821.161.1-31

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-161458-4

© Алексеева Н., 2023

© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	28
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Надя Алексеева

Полунощница

© Алексеева Н.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Глава 1

В каюте с лежанками из рабицы пассажиров рвало друг за другом. «Блюют, – сказала Ася. – Пошли отсюда. Не то втянешься». Седая, серолицая, над увядшими щеками – быстрые глаза, из битых молью рукавов черной куртки – неожиданно молодые руки. Эти руки и увели Павла наверх по пляшущей лестнице. На палубе кем-то забытый рюкзак переваливался от борта к борту, подползали к нему лужи зеленоватой ладожской воды. Ася отыскала сухой моток брезента, развернула, плюхнулась на него, согнув ноги под черной юбкой, похлопала Павлу, чтобы сел рядом, принялась креститься. Обыденно, будто пудрилась. Ветер даже сквозь очки студил Павлу глаза. Пунктиром на горизонте лежали клочки архипелага. Валаам.

Павел увидел себя сверху, как в кино: камера все удалялась, удалялась, пока «Свяитель Николай», старая посудина, которой на Валаам переправляли волонтеров, богомольцев и мешки с гречкой, не сделался бумажным, а сам он не предстал на палубе тощей кляксой. Он здесь не предполагался, да вот случился. Рот наполнился лимонной горечью, Павел вскочил, перегнувшись через борт, зарывав, спугнув чайку. Поймал очки, норовившие слететь с носа, протер. Смотрел, как волна подхватила и унесла желтую кашицу, пока его не замутило вновь.

Волна кидалась под киль «Николаю», тот спотыкался, раскачивался, переваливал, кланялся. На этих поклонах голову Павла кто-то сжимал, удерживал меж могучих ладоней, пока его тело падало. Павел чувствовал, что вот сейчас, прямо сейчас, умрет, и хотел, утираясь от брызг, чтобы его смыло за борт.

Атака волн отдавалась в теле тем ударом по бамперу «Победы». До этого машина шла плавно – Павел и не замечал лежащих полицейских, мелких ям. На светофоре тронулся. Вдруг удар, хруст. Павла вжало и отпружинило от тугой спинки. Больно дернулась шея. «Победа» перевалилась через какое-то препятствие.

Все кругом сигналили.

В левом ряду легковушка приехала в чей-то бампер, и больше не было видно ни черта. Открыл дверь, на асфальте раздавленные яблоки, красные длинные брызги. Выскочил из машины, споткнулся о покореженную сумку-тележку, из нее вытекала овощная жижа. Фух! Павел вытер лоб рукой, поднял тележку, поискал глазами, кто уронил. Пощупал вмятину на бампере: видимо, тележка и выкатилась на дорогу. Обошел машину. За «Победой» на разделительной полосе лежала женщина. Морозное солнце высветило спину в черной куртке.

– Ты, это, сядь, сядь лучше. Драмины бы принял. Есть? – Ася дергала его за штанину. Павел боялся пошевелиться: снова вывернет.

– Сходи к капитану, спроси, не то заблудешь им всю палубу. Чего смотришь?

– Тебя... Тебя вообще, что ли, не качает?

– Дык я на Иисусовой молитве. Это тема прям. Знаешь ее?

– А сестры у тебя нет? – спросил Павел, кривясь от ветра и брызг. – В Москве видел похожую на тебя.

– Да нет никого, одна я.

Эта Ася знала всех в хижине на причале Приозерска, где им три часа назад наливали чаю и просили надеть на себя все теплое, не модничать, потому что «на воде не апрель». У причала стоял «Николай», его труба выплевывала черный дым и стучала, приоткрывая крышку. Тук-шлеп-тук-тук. На палубе суетился, что-то спешно ремонтируя, механик. Сосновый лес был красным на просвет, пахло прелыми опилками. Чайник в хижине без конца кипел и парил, было душно. Ася все шуршала фантиками конфет, говорила «спаси, Господи», и никто не знал, когда они придут на остров. На все была «воля Божия»: на нее ссылались так, как баба Зоя на «Комсомолку». Из ее старой тумбочки вечно торчали вырезки всех сортов: от

рецептов творожного кекса до жухлых послевоенных сводок о том, где искать пропавших без вести. Сводки лежали не по порядку, зато на каждой из них круглым почерком (печатным, старательным) было написано «Петя Подосёнов».

Петя, родной брат бабушки, так и не вернулся ни в сорок пятом, ни в пятьдесят третьем, когда приходили те, кто попал в арестантские роты и лагеря. Павел знал, что Петя держал оборону Ленинграда, а когда блокаду прорвали, вести от него прекратились. В конце сороковых баба Зоя каждый год ездила в Ленинград, отпуск тратила на добывание архивных справок, из которых было понятно: живым брат уже не вернется. «А могила? Должна же она быть? Чем вы тут занимаетесь в архивах: пять лет с войны прошло! – дед, попискивая, изображал бабку: вынь да положь ей брата. – И глазами, Паш, как сверкнет! Ну как было не влюбиться молодому историку?!» Дед умер от инфаркта, когда Павел учился на первом курсе. Павел помнил его смешливым, глуповатым, несмотря на степень доктора исторических наук.

Новогоднюю ночь на 2001-й, последний в жизни деда, Павел отмечал дома: старая, еще школьная любовь сама собой оборвалась, вузовской компанией не обзавелся. Баба Зоя, опустошив свою тарелку, послушав, что скажет новый президент, ушла спать. Павел с дедом без конца переключали телеканалы. Везде пели, пили, надеялись. Вдруг прямо у их окна рассыпались искры салюта. Звякнул хрусталь. Дед убрал бокал «для Пети» и его фотографию: лобастый курчавый парень проплыл мимо Павла.

– Невская Дубровка.

– Чего? – Павел, у которого голова трещала от выпитого, очнулся.

– Станция на железке. Оборона Ленинграда там проходила, их всех землей засыпало заживо. И не раз.

– Петя?

Дед кивнул:

– Немец не прошел, но и они не встали. Она все не верит. Сына родного так не оплакивала.

Всех своих покойников баба Зоя вспоминала редко, зато с братом, с Петей, беседовала, как с живым. Особенно в последний год, заговариваясь, называла Петей Павла. Порой днями не вставала с постели, путая сны с новостями. Павел звонил в скорую (девятисто лет – не шутки), а она, заслышав разговор, встряхивала седым пучочком на макушке, цокала вставной челюстью, взгляд снова обретал строгость: «Не надо, не надо. Бабка твоя еще из ума не выжила, Паша».

– Паша, проснись уже! Паша, Никольский! – Ася трясла его за плечи.

Маковка церкви торчала над водой, выглядывая из бурого пуха сосен. За Никольским скитом показался причал – серое небо над ним было разодрано, проглядывала голубая подкладка. Летела навстречу стая ворон. Пахло древесиной, влажной землей. Ладога теперь лишь пощипывала «Николая» за бока, тот увиливал, покачивался.

Осунувшиеся волонтеры и богомольцы поднимались из каюты, стягивая шапки, стряхивая с волос и бород присохшую рвоту. Пожилая, сильно накрашенная женщина в черном берете поверх платка спрашивала Асю о старце, который хорошо исповедует. Павел прислушался. Толстый парень с бородой кому-то звонил, повторяя: «Ты себе не представляешь! Але? Слышно?» Девицы из Челябинска утирали друг другу подтеки туши под глазами, фотографировались. Та, что повыше, хотела «удержать» на ладони колокольню главного, Спасо-Преображенского собора, которая в кадре казалась не больше елочной игрушки. На колокольне в закатном солнце розовел крест. Внутри башни дремали колокола, крошечные, едва заметные с причала.

Мимо Павла передавали на берег пестрые тюки и огромные чемоданы. Монах, принимая на берегу, называл их «голгофами». Павел кивнул Асе и тут же дернулся, как от выстрела.

«Сука! – кричал кто-то тетке, спешащей вдоль причала. – Я те дам, не велено! Открой магазин, сказал!» Павел перехватил окаменевший взгляд монаха, заметил, как тот мелко-мелко зашевелил губами, зашептал. Мужика, который, матерясь, сбежал с лестницы и едва не схватил тетку за капюшон, заслонили от сходявших на берег два высоких монаха. Павел разглядел только поседевшую курчавую голову.

Фыркая, с уклона к причалу сползал пазик.

Пазик тащился к Работному дому, старинному зданию из темного кирпича, где поселили волонтеров. Снова качало, трясло, но хотя бы на суше. Рядом с Павлом сидела Ася, не переставая перебирать знакомых с Гошей, в распоряжение к которому они поступали. Гоша Павлу не понравился. К его виду – брюкам с походными карманами, ремню с бляхой, тяжелым ботинкам – добавилась еще и манера начинать фразу со «значит, так». При этом бороду он носил длинную, как у монахов, и, когда Павел в третий раз спросил, что им завтра делать, ответил: «Что Бог пошлет». Павел аж зубы стиснул. Ася шепнула, что Гоша отслужил в местной части ПВО, которая «там, за картошкой, увидишь», сверхсрочную прошел, прижился у отца-эконома.

Весна на острове выдалась сырая, снег, как писали в соцсетях, сошел лишь за неделю до прибытия волонтеров и еще белел на поленницах, сложенных у старинных домов. Центральная усадьба, Спасо-Преображенский собор с колокольной, у которой белесо светился лишь верхний ярус, обновлены, покрашены. Кельи монахов, обступившие храм двойным квадратом-каре, кое-где скрывались за строительными лесами.

– Значит, так, Зимняя гостиница, там местные бухают, ну то есть живут, – пояснил Гоша волонтерам, махнув веточкой вербы на дальнейшее здание с ветхими сизыми окнами и детской коляской у входа. – Ну ничего, дай срок. Алкашей выселят, ремонт сделаем, наша будет гостиница.

– Перестань, – осадила его Ася.

В Работном доме к комнатам волонтеров вела лестница с низкими каменными ступенями, за сто с лишним лет промятыми поступью мастерового люда. На третьем этаже мужчин направили на правую половину. Так заведено монастырским уставом: женщины и в храме становились отдельно, слева. В комнате с низким потолком, печкой, деревянными скамьями у стола и электрическим чайником (чересчур современным для обстановки) стояли едва ли не вплотную четыре кровати. На дальней, в углу, всхрапывал и бормотал, ворочаясь под тулупом, какой-то старик. Гоша указал Павлу на кровать возле окна, выдал полинявшее постельное белье в синих цветах. На соседней койке развалился тот бородатый с корабля. Павел забыл его имя. Панцирная сетка под ним простонала – Павел только сейчас оценил, насколько Бородатый мощный. Метра два ростом, ноги-руки раскинул, живот поднимается горой.

Спали плохо, печка дымила. Бородатый, пригибая половицы, вставал, топал, ковырял в топке кочергой, дул на огонь, размахивал газетой. Пепел летел во все стороны. С женской половины слышался смех и Асин голос.

– Может, к ним пойдем спать? Говорили, полгруппы только приехало, – сев на кровати, сказал Павел.

– Ты че! Это не благословляется, на двери же правила. – Бородатый выкатил едкую головешку на пол и гасил угли, поливая из чайника. – С женщинами нечего общаться. Такое дело.

– Лучше потолки бы подняли в туалете, я задолбался башку расшибать. – Павел взял ложку со стола, прижал к шишке на лбу.

– Смотри, на поле днем послушание будет, там можно. Но без рук, – смешок Бородатого был похож на дедов. – Такое дело: смирение и работать. Впахивать.

– А назад «Николай» какого числа? Не помнишь?

– Во вторник.

Бородатый лег, накрылся с головой одеялом и засопел. Павел распахнул обе форточки. Размахивая газетой, выгонял чад и ловил бумажные иконы не больше ладони, наставленные на

полках и подоконнике, норовившие разлететься по полу. Задержал одну в руке, прочел вслух: «Валаамская». Образ вроде Рафаэлевых мадонн: наивных, сероглазых, с нежным румянцем. Но у того фигуры всегда изгибались, сходились в арки и круги и были окружены не то ангелами, не то волхвами. Здесь одинокая женщина, на руке которой держались и младенец, и голубой шарик, стояла прямо. Красный наряд, твердая поступь – будто решила идти до конца, как разгоревшаяся во всю силу свеча. Облако и то окаменело под ее босым шагом. На обратной стороне иконы был календарь, свежий, на 2016 год.

Засыпая, Павел посмотрел на Валаамскую. Ну, я приехал, что дальше? Он сейчас и вспомнить не мог, как, зачем, спустя тридцать лет после того, как родители разбились на «Победе», ему загорелось восстановить машину. А сколько он искал тот самый дымчатый оттенок, который помнил? Теперь вот баба Зоя снится. Ладно бы ругалась: не так похоронил или не попрощался. Но она появляется над серой водой и говорит про остров Валаам. Она далеко, только название и слышно. Павел подходит ближе, ближе, а вода вокруг замерзает, твердеет, он в ледяном колодце, на дне, а наверху мелькают тени.

В последние недели в Москве Павел всегда просыпался от звука колокола. Никак не мог разобрать: то ли во сне звонят, то ли это церковь соседняя, на Покровке. Павел еще до отъезда зашел из любопытства – там даже колокольни нет. На сайте писали, была колокольня, но давно обрушилась, подтопило ее, и всё никак не восстановят. Отпевали бабу Зою на Бирюлевском кладбище, Павел ни слова не понял, да еще какой-то желтобородый дед подходил, соболезновал, воняя табаком, хотел рассказать «про твоих». Павел машинально кивал, вроде как да-да, спасибо, что пришли. Ему казалось: вот только сейчас, похоронив последнего родного человека, он должен начать новую жизнь, какую-то другую, тяжкую, неподъемную. Желтобородого теснили сзади – бабу Зою, несмотря на слякоть, приехали провожать многие, – но тот стоял к Павлу вплотную. Удивлялся, как это Павел его не помнит, когда в гостях у *дедушки Вити* бывал столько раз маленьким: «Еще медалями игрался моими!» Павел, подняв брови, с усилием выдохнул. Поджав губу, отчего желтое пятно на бороде сомкнулось с желтизной усов, этот дедушка Витя наконец отстал от Павла. Неохотно так. Резко обернувшись, сунул ему визитку: ты мне набери все-таки, «важное сообщу». Растолкал толпу, ушел. Озябший священник вновь загундосил молитву. Дымок, вырывающийся из кадила, перебил запах слежавшейся шерсти и сигарет.

Павел знал, что нет никакой загробной жизни, но отпевание устроил, как бабе Зое привычнее, «по религии». Петин портрет она всю жизнь возле иконы держала. Кажется, тоже Богородицы. Наверное, ее и при жизни тревожило письмо с Валаама, которое Павел нашел в бардачке «Победы». Почему же она ничего не сделала, чтобы найти родню? Забрать Петиного сына к себе? Дед отговорил, что ли, ехать? Дед точно знал, что Петя погиб на войне. Не поверил письму?

И все-таки было в этих снах что-то ненормальное: гул, дым, лед, тени. Прежде Павлу изредка снились женщины, рабочие проекты, море, однажды зеленые пуговицы граненого стекла и запах белых каких-то цветов. Сирень? Лилии? В цветах Павел не разбирался.

Лизка, с которой когда-то встречался, выслушав про сны с колоколами и письмо, сказала, что хорошо бы к старцу съездить. Из бара, где сидели, открывался вид на ту церковь без колокольни (как же ее? Троицы на Грязех?). Лизка пила кофе такой черный, хоть ложкой ешь. Добавила: «Просто проконсультируйся». Рассказала, как сама съездила к старцу в Калужскую область. Как сидела и молчала, а тот прямо указал, что делать.

Изливать душу перед психологом или батюшкой Павлу не улыбалось. Он считал, что нужно высыпаться, нормально есть, ходить в бассейн. Не пить. Работать. Неврозы, бессонницы, исповеди – для лентяев и слабаков.

– Да не психолог! Это другая сфера вообще. – Лизка прищурилась. – Ты все равно на Валаам попрешься с этим письмом, не успокоишься, я тебя знаю.

– И что?

– Ну и заодно. К валаамскому старцу все випы ездят. – Лизка уже щелкала пальцами, что-то вспоминая, на «православную» не похожа, выглядит как надо, проекты берет крупные. – Забыла, как же его? Василий? Власий?

В тот же день Павел позвонил в волонтерскую службу Валаама.

Отвернувшись от окна с иконами, Павел решил завтра же к старцу попасть. Про Петю расспросить, раз он такой прозорливый, про колокола во сне – все разом уладить. За неделю тут с ума сойдешь. Он шумно выдохнул, устроил голову на подушке, закрыл глаза. Вдали загудела сирена, асфальт блеснул инеем. Павел стоит на коленях возле «Победы», на его руках женщина в черной куртке, рукава дырявые, а руки из них выглядывают нежные, розоватые. Замерзшие. Разлетаются седые пряди. Ася. Из рта кровь течет, но она говорит, говорит с ним, говорит и смеется, становится румяная, красивая даже, а вокруг уже смыкается ледяная крепость. «Победа» сливается с ней цветом, растворяется, снаружи гудят, снуют тени. Ася утихает, сразу постарев. Кончик ее носа заостряется. Павел смотрит вверх, ждет звона колоколов. Зовет на помощь, бьет по льду, чувствуя, как тот обжигает ладони. «Я же приехал! Приехал на Валаам!» – кричит Павел наверх. Высоко над ним промахивает тень чайки.

– Ася тоже умрет? – Павел встрепнулся, огляделся, упал на подушку и уснул.

Утро пришло ясное, из-за белых стен келья засветилась изнутри. Павел сощурился, вставая, чуть не раздавил очки под кроватью, надел, вспомнил, где он, и тут же после стука в дверь раздалось Асино пение: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Бородатый крикнул: «Мы не одеты!» Ася сказала что-то про «рухольную» и «благословляется», застучала тяжелыми сапогами прочь по дощатому коридору.

В рухольной-кладовке на левой, женской, половине оставляли вещи, больше не нужные в монастырской жизни, а то и вовсе опасные. Ася выудила из кучи юбок и брюк кружевные трусики и такую же невесомую сорочку на бретельках.

– Отказалась грешить, – торжественно произнесла она. – Ушла в монастырь.

– Это же му-мужская обитель. – Бородатый сглотнул.

Ася расхохоталась и выхватила из ящика в самом углу пару резиновых сапог с меховой подкладкой, протянула Павлу, и теплый луч, добравшись до рухольной, приласкал ее щеку. Павел смотрел на Асю – вот же она, живая.

Сапоги пришлись впору. Павел задумался было о том, кто их носил и на каких ногах, но, спохватившись, благодарно закивал в пол. Ася накинула ему на спину черную куртку, почти такую же, как у нее, только большую, с мужского плеча, без дыр.

– Ну ладно, кто облачился, проваливайте, мне еще челябинских одевать, у них одежда не по погодке. Так, что я хотела еще...

– Ася?

– Паш, вы хоть не опаздывайте из трапезной. Отец-эконом на поле будет.

Ася, отстучав сапогами, вылетела за дверь. «Живая», – подумал Павел, встал и быстро пошел за остальными. Со вчерашнего вечера он постоянно кого-то догонял, переспрашивал и сейчас, по дороге к новому зданию, морщился от того, каким странным, наверное, казался Асе. Да и всем.

Навстречу Павлу шли четверо в замызганных телогрейках. «Извините, где тут трапезная?» – проблеял Павел, но те прошли мимо. Высокий, рыжий задел его плечом. Пахло перегаром. Обернувшись на блик, словно кто-то дразнил его солнечным зайчиком, Павел увидел колокольню, бело-голубую, и крест на ней поутру был празднично-золотым. «Баба Зоя, я

и сверху кажусь идиотом?» – спросил он шепотом и, оказавшись перед двухэтажной кирпичной постройкой, заторопился в дверь, за которой исчезла спина Бородатого. Раньше Павлу не пришло бы в голову беседовать с умершими.

В трапезную мужчины входили без шапок, женщины, наоборот, повязывали платки. На первом этаже висело с десяток курток и расписание трапез: наемные работники, волонтеры, трудники. Павел понял, что есть здесь и найм и что на завтрак ему осталось минут десять. Поднявшись на второй этаж, увидел огромный образ все той же Богоматери на облаке, несколько столов, где сидели волонтеры, и по другую руку – стойку, как в столовой, с хмурой девушкой в белом платке, охраняющей чан с кашей. Другой чан, такой же огромный, с вареными яйцами, просто стоял на одном из столов. Чай, хлеб, яйца и печенье разрешалось брать в любом количестве, кашу девушка накладывала строго одну миску на человека. «Пшенная», – сказала она устало, хотя Павел и не спрашивал. Пахло здесь, как за завтраком в детском саду. Ася сидела с челябинскими в ярких косынках. Одна она была без платка, и ее волосы отливали серебром под лампами дневного света.

– Старец сегодня принимает? – начал неуверенно Павел.

– Если яйца не будешь, котам возьму. – Ася его не слушала. – Их там много, можно прямо обложиться и вздремнуть, пока отец-эконом не видит.

– Не люблю быстро есть. – Красивая челябинская волонтерка отставила тарелку.

– На вот, заверни печенье с собой. – Ася порылась в карманах, вытащила свернутый пакет. – Еще, Маш, слышишь? Еще можно не краситься: успеешь с утра поесть спокойно. С рабочими.

– Это они шли вчетвером? – Бородатый пощелкал пальцами по шее.

– Не, рабочие тут ого-го, финнов даже вызвали. Вежливые такие.

Ася уже бежала куда-то со своим подносом, и черная юбка виляла за ней. Павел в две ложки закинул в себя кашу, поспешил следом. Поставив поднос, Ася крестилась на образ. Павел поднял руку ко лбу, осекся: не понимал он этих обрядов.

Ася взяла с крыльца стопку мешков, позвала Вику (из двух челябинских она была старше и выше), поправила шапку и пошла внутрь квадратного двора Работного дома. Обогнули перевернутую ржавую лодку, сгнивший запорожец, веревки, на которых сушилось белье. Из-под битого кирпича в углах лезла первая трава. За двором открывался путь к «верхнему» монастырскому саду. На сайте монастыря тот был летним, густым. Павел вспомнил снимок с колокольней, точнее, с ее отражением в пруду. Сейчас из-за глухого забора виднелись тощие ветви яблонь. Страхнув снег, они всё еще зябли.

Минуя садовую ограду, вышли к полю. Черному, вязкому, отделенному дорогой и аллеей старых пихт. Аллея вела на кладбище. Замешкавшись, протирая очки, Павел сообразил, что это не клочки снега на черной земле, а мешки, грязно-белые, такие же, как у Аси. Монахи нагибаются, что-то подбирая с земли, затем вдвоем волокут заполненный на треть мешок к обочине. Гоша, догнавший его на велосипеде, поторопил, сказав, что монахи с утра собирают здесь камни, чтобы расчистить поле и вспахать трактором, как станет посуше. А пока трактор увозит камни подальше.

– Сколько собрать надо?

– Значит, так, возьми в пару кого-то. – Гоша будто его не слышал. – Ты в первый раз?

Павел кивнул.

– К монахам не приставай. Сами спросят – отвечай. Ясно? – И уехал.

Возле избушки на краю поля Ася уже построила Машу с Викторией в ряд, позвала еще двух старух и со словами «взмолимся, сёстры» затянула песню. Хриплый голос звучал весело: только когда сбоку подошел монах и принялся креститься, Павел догадался, что это молитва. Положив поклон, Ася взяла мешок и неторопливо пошла по полю, продолжая напевать. Она

легко нагибалась к камням, долго их рассматривала, собрала пирамидку наподобие шаманской, постояла над ней. Павел просто шел рядом.

– Сфоткай меня! – Ася приложила к груди камень с дыркой посредине, похожий на огромную бусину, и протянула телефон. – Ты чего не собираешь?

– С какой стати? Ни задач, ни сроков. Сизифов труд.

Над ними пищали и хлопали крыльями чайки.

– Ты сизифов еще не видел! В первую осень я тут листья гребла в саду, под яблонями. Гребешь, они падают, гребешь, а они опять. Ветер подул, снова-здорово.

– Ну и смысл?

Павел сел на ведро, уткнулся в телефон. Поймал взгляд двух монахов. Один, молодой, заросший скорее щетиной, чем бородой, покосился равнодушно. Второй (он держал молодому мешок), одетый в куртку, из которой клоками торчал наполнитель, смотрел на Павла так горестно, будто тот ему эту куртку и изорвал. Покашливал. Обут он был в огромные валенки с галошами. Павел его сначала за старуху принял.

Отошел подальше, к Асе, придержал ей мешок:

– Слушай, это старец?

Ася смеялась так, что на них все оборачивались.

– Старец за Смоленским скитом обитает!

– Далеко?

– Ну так. Часа полтора топать, и очередица теперь, к Пасхе.

– Я сделаю сколько надо рядов и сбегая.

– Смотри, полосатый какой-то. – Ася протянула камень Павлу. – Видишь поле? Как все камни уберем, другое послушание будет. Как колокол прозвонит, можно и отдыхать. Ну и обедом накормят, хотя я лучше вздремну.

Павел отшвырнул камень в сторону.

На обеде всё в той же трапезной каждого спрашивали: «Постное? Скоромное?» Павел взял суп с мясом, пленка поверху была жирная. Еще дали котлету с гречкой, капустный салат, компот из яблок, густой, приторный. Ася и правда пошла спать, остальных Павел не знал и рад был поесть в одиночестве. За обедом он придумал согласовать с Гошей норму, успеть к старцу. Достал телефон, занес в список дел: «Узнать, как добраться до Питера». Мысленно Павел уже вернулся в Москву, устроился на работу, в чистой рубашке входил в офис, где приятно пахло кофе. Подняв голову от мобильного, увидел, что трапезная пуста, а он съел все, даже яблоки из компота. Посуду сдавал чистую, судомойка посмотрела на него по-матерински.

Когда пришел на поле, все уже работали. Гоша сам к нему подъехал, спрыгнул с велосипеда, Павел отметил, какой он низенький, метр шестьдесят пять, не больше. Голос обрел уверенность.

– Гоша, мне надо по делам смотаться.

– То есть ты такой прямо деловой весь.

– Слушай, я сюда приехал не камни таскать, мне к старцу надо.

– Совесть есть вообще? Старухи, девочки вон упираются... Значит, так, к старцу ты сегодня не пойдешь. Сиди дальше на ведре, – последние слова Гоша прокричал.

– Это кто решил? Дай норму, я сделаю и свободен. Я не собираюсь таскаться с мешками весь день под «Отче наш»!

Монахи и правда запели молитву.

– Значит, так, завтра корабль, отправляйся домой с таким отношением. Не ломай мне дисциплину. – Гоша влез на велосипед, обернулся: – А старец тебя не примет. Он в курсе, кто какой.

Гоша еще не скрылся из виду, а Павел уже звонил в волонтерскую службу. Хотелось поставить солдафона на место. Администратор, та, что его отправляла, подтвердила, что «Святитель Николай» отойдет завтра в восемь утра, и если он хочет уехать, то пожалуйста: невольник не богомольник. А старец, старец решает все сам, никто на него не влияет, уж тем более Гоша. Он неплохой, перегибает от усердия, на него уже жаловались волонтеры.

Потом объяснила, что монастырский труд всегда ненормированный. Он про смирение. Важно принимать всё как есть и трудиться по силам.

Ну хоть какие-то правила.

Павел взял мешок, подобрал и швырнул горбатый камень. Пошел быстрее, собирал, кидал, нагибался, разгибался, сравнился с Асей.

– О, отцу-эконому прям бальзам. – Ася понизила голос, кивнула на монахов. – Старый. Кашлял, когда ты филонил. Ты чего к старцу? Девушка ушла?

– Он что, это лечит?

– Не знаю, в разводе я. Отец Власий хороший, меня вытащил.

Ася помолчала.

– Ну и легче на острове, понимаешь? В магазине был? Там и водка есть, раз жилое поселение, нельзя без нее. Но когда он один, магазин, его проще стороной обходить. Смотри, вот даже говорю с тобой – почти не трясутся. – Ася сняла правую перчатку, выставила руку, запачканные землей пальцы держались ровно.

Павел набил камнями два мешка, обливаясь потом, все тянул и тянул их вперед, едва успевая за Асей, помахивающей полупустым ведром. Когда дотащил свои мешки до обочины, они втроем с трактористом и Бородатым ссыпали булыжники в кузов. «Парень, ты головой-то думай иногда, так мешки набивать!» – крикнул тракторист из кабины. Бородатый поехал с ним – выгружать. Павел уселся на ведро и почувствовал, как натружена поясница.

Краем глаза уловил движение. Монахи складывали мешки на краю поля и уходили в сторону храма. Им вослед слетали с пихт вороны, небо было ясное, от земли шла ледяная сырость: и ведро, и сапоги вязли. Павел оглядел поле: мелькают шелка челябинских, старухи-паломницы говорят между собой. Вдали увидел Гошу: тот, не слезая с велосипеда, показывал скрещенными руками, что Павел план перевыполнил. Обернувшись на Асю, понял, что Гоша просто просигналил заканчивать работу. Потер грязные ладони, выругался, содрав мозоль.

Увидел перед собой валенки и галоши, поднял глаза – отец-эконом. Хотел встать с ведра – и не смог. Тот махнул рукой: сиди. Каждая морщина вокруг выцветших глаз улыбалась.

– Во славу Божию потрудились, прямо радость.

Узнав имя Павла, отец-эконом сказал, что будет молиться за него, ушел.

– Приятный старик.

– Ну, как сказать... Чай будешь? – Ася вытащила термос, плеснула в крышку крепкого до черноты. – Ты посиди еще, правда, красный весь. Ты крещеный?

Павел кивнул.

– Тут лучше крест носить. А то бесовщина всякая повывлезет ночами.

Павел поморщился, нащупав вареное яйцо в кармане, достал очечник. Там вместе с тряпочкой для протирки стекол лежал и серебряный крестик на веревочке. Он иногда доставал его, смотрел как на вещь, которая с ним с рождения. Баба Зоя говорила: «Крестильный». Развернул: голова в веревочку еле пролезла. Спрятал крестик под футболку.

– Считаю, это бейджик. Может, и к старцу попадешь. После него, если не размотаешь благодать за день в городе, месяц будешь ходить, как в вату обернутый.

У избушки, где молились до начала работы, теперь кружили коты. Пушистые, широколапые, игривые и старые, едва-едва способные дергать хвостом, чтобы увернуться от ласк. Маша

и Вика в скромных юбках, добытых им Асей в рухольной, тянули котов себе на колени, гладили, фотографировали друг друга в темных очках и без них.

Павел едва держался на ногах, встал поодаль. К нему подошел, сел у сапога ветеран: кот с перекошенной физиономией, когда-то рыжий, а теперь желтый, пыльный. Павел достал вареное яйцо, очистил, разломил пополам. Кот не мог яйцо ухватить, белок выскальзывал из пасти, как нарочно. Сев на корточки, Павел раздавил белок с желтком в кашу, погладил кота по спине: все позвонки наперечет, словно проводишь рукой по радиатору. Женщина, вышедшая из избушки, присела рядом с Павлом:

– Ест, ну надо же! Вы идите, идите на службу, а то опоздаете, я сама.

Волонтеры, переговариваясь, потянулись по аллее. Павел, тяжело переставляя ноги, пошел следом.

– Петя, ну что ты? Ешь! Живой, и слава богу, – послышалось за спиной.

Павел вздрогнул. Догнал своих уже у входа в храм. На крыльце, перед монахом с благообразной бородой, все расступились. Ася, поклонившись, шепнула Павлу: «Настоятель». Павел, не в силах выслушать проповедь от кого бы то ни было, постелил мешок, сел на ступеньки. Идти в Работный дом, хотя бы умыться к ужину, не мог. Утирал пот рукавом. Подуло холодным – набросил капюшон, сгорбился. Мелькали чьи-то ноги в чистых кроссовках и на каблуках. Внезапно у себя на коленях Павел обнаружил сторублевую бумажку, машинально поблагодарил, сунул в карман. Закемарил. Очнулся в сумерках, встал, держась за поясницу, и тут зазвенели монеты, падая к ногам. Там же оказались еще три сторублевки. Вытаращив глаза, Павел с трудом нагнулся, собрал, сосчитал – без малого пятьсот рублей. «Докатился», – сказал он себе, озираясь, не видит ли кто. Поднялся в храм, увидел ящик для пожертвований, скорее ссыпал все туда, как вор. «Сколько же они собирают за день?» – пробормотал Павел, задрав голову к колокольне. Серый бок колокола не отозвался.

Трапезная была закрыта. Павел достал телефон: девять вечера. Остров жил по московскому времени, но Павел перестал ощущать это время. Он никогда не носил часов. Еще в школе вставал без будильника, никогда не опаздывал. А здесь не мог понять, как время движется, куда утекает. Кому принадлежит?

Помыться хотя бы успеть. Поковылял к Работному дому за полотенцем.

В Водопроводном доме, как его называли местные, свет не горел. Павел, дважды обойдя белое трехэтажное здание, неуверенно взялся за ручку двери. Хотя бы просто постоять под душем. В туалете ледяная вода утром взбодрила, а вот волонтерскую протапливают плохо. Хоть спи в перчатках. Но в телефоне в них лазать неудобно. Раздразнил и старик с соседней койки, который утром, не поздоровавшись, назвал их с Бородатым «греховодниками». То ли подслушал их ночной разговор, то ли клеймил всех волонтеров без разбору. Как он сам попал на остров, когда собирается уезжать – неизвестно. Дед Иван. Лишь раз Павел видел, как он вставал с кровати: подбородком уткнулся в грудь, голову поднять не может. Застыл согнувшись, как шахматный конь. Бородатый сказал, от энцефалита так бывает.

– Эй, очкарик! Весь пар выпустил, чтоб тебя! – Перед Павлом стоял крепкий мужик с густыми черными волосами по всему телу, облепленный березовым листом.

На шее болтается какой-то круглый медальон. Руки не прикрывают естество, уперты в бока. Павел, пока снимал в предбаннике куртку и переобувался в шлепанцы, оставил щель в двери, а бойкий ветер давно распахнул ее настезь, выдувая запах веников и земляничного мыла. Собрался было извиниться. Но мужик, матюкнувшись, уже с силой захлопнул дверь и прошлепал босыми ногами назад.

Из предбанника с облупившимися стенами и высокими скамьями, крашенными в густой коричневый, медвежий цвет, дверь вела в помывочную. Горело несколько тусклых ламп, еще советских, в виде шаров. Мылись на цокольном этаже, потому что с улицы весь Водопроводный

дом казался темным, брошенным. В помывочной на широких скамьях сидели и лежали мужчины, с размаху шлепали по груди и ногам мочалками, обливали себя из шаек, с гулким грохотом наполняли их снова.

Пахло горячей водой, за два дня Павел забыл этот запах. Узнал высокого рыжего, с которым плечом столкнулся утром. Тот кивнул Павлу хоть и неприветливо, но по-свойски: «Видно, никуда от тебя не деться». Остальные волонтеры уже помылись – Павел опоздал. Как сказал ему другой мужик, словно захмелевший от мытья: трудники вперед, за ними волонтеры, а уж потом «мы, неугодные». Он подсел к Павлу на скамью и принялся нудно жаловаться: мол, местных с работы турнули, жить не на что. Тут дверь в парную распахнулась, послышалось хлопанье веника и уханье. Мужик вздрогнул, отскочил от Павла и, вылив на себя таз попрохладней, ушел одеваться.

Дорога из Водопроводного дома в Работный прямая, быстрая, но Павел устало сел на лавку. Луна еще набирала силу, черное небо вызвездило, над головой, мерцая, расплескался Млечный путь. Земля подсобралась морозцем, Павел поскреб сапогом шершавости. Справа в кельях тускло горели окна – наверное, монахи творили молитву. Павлу тоже захотелось побыть одному: спланировать свои дела на острове. Он вытянулся на лавке, подложив пакет с полотенцем под голову, сливаясь с ночью. Петляя, над ним летел спутник. Послышался женский разговор, несколько темных фигур прошли к Работному дому. Одна из них, возможно, красивая Маша. И, едва размякнув от этой мысли, Павел тут же нахмурился. Не за тем он приехал на остров. Решил с утра сбегать к старцу, потом на кладбище: если Петя Подосёнов тут жил, тут его и похоронили. Может, и семья его рядышком лежит в земле. Под веками Павла поплыла скромная, заросшая густой травой могила с красной, яркой звездой. На ней фотокарточка лобастого, того самого «Пети», что праздновал с ними каждый Новый год, только даты жизни не разобрать. Павел прищуривается, возникают знакомые молодые руки в черных дырявых рукавах, протирают памятник «1917–...». И шлепают его по лицу. Ошпарив щеку, как наждачкой.

Павел открыл глаза. Небо серое: не то день, не то ночь, все постройки до самых крыш скрывает туман. Гоша, стоя над ним, стаскивает с себя куртку, укутывает ей Павла, хлопает по спине: «Давай! Живее, ну, вставай». Пока Павел заплетался ногами и моргал, Гоша, подталкивая его ближе к кельям, рассказал, как было дело. Он, как водится, шел с полунощницы, собираясь еще вздремнуть до завтрака, – и видит, на лавке кто-то лежит. «На Валааме и алкаши, и наркоманы – обычное дело, правда, те на ферме больше, а тут, здрасте, неизвестно с какого парохода, кемарит». Гоша подошел растолкать и спровадить. Когда понял, что это Павел, даже обрадовался. Потом решил, что Павел умер, уж очень он бледный лежал, ледяной. «Значит, так, напугал ты меня. Чего разлегся-то? Забыл, что ли, где дом?» – Гоша начал злиться. Павла зазнобило.

Чтобы не будить волонтеров, Гоша отвел Павла в свою комнату в каре. В четыре руки стащили куртку, ботинки. Гоша уложил его в постель, зашуршал пакетами, заварки в чашку бухнул и мха накрошил, приговаривая, что это бородач, древесный, лучше иностранных всяких добавок, монахи им лечатся. Недолго думая, достал флягу, плеснул в кипяток. Запахло дубовой корой, спиртом. Заставил Павла, который едва закемарил, пить «лекарство» до дна, выругался, перекрестился, потрогал еще раз Павлу лоб и побежал за врачом.

Глава 2

По голове прошел гусеничный танк, сдал назад, затаился в засаде. Так казалось Павлу. Солнце давно встало, луч пополз по большой карте Валаама, прикреплённой к стене Гошиной комнаты. На месте скитов – стикеры с датами. Как боевая операция. График работ? Павел прищурился, но какую работу и где предстояло делать, было написано мелко. Хотелось пить, Гоша ушел, под рукой осталась только его фляжка. Глотнул – обожгло. Комната узкая, длинная, как вагон. Стол, стул, кровать. Вместо шкафа – крюки, на которых болтаются брюки и свитера. У двери – гиря, ручка синей изолентой перемотана, две бурые гантели. Павел чувствовал, что кто-то следит за ним, заметил в дальнем углу темный лик Христа. Икона, всё ясно. Повернулся на другой бок, но взгляд и тут нашел его. Осудил.

Из форточки подуло на шею, стало зябко. Майка на Павле промокла насквозь. Чихал очередями.

– Будь здоров, волонтер. – Врач, какой-то синий от белизны халата, с сумкой через плечо, вошел без стука, за ним Гоша.

Осматривая Павла, не успевшего ответить, врач продолжил:

– Волонтерская тебе не подошла, да? То на лавке спишь, то в гостях. – От его рук пахло горьким табаком. – Может, домой тебя отправим?

Врач поднял с пола всхлипнувшую флягу, Гоша принялся показывать ему какие-то банки с травами. Врач его одернул:

– Лучше чайник сходи налей.

С уходом Гоши врач смягчился, сунул в рот Павлу ложку густой микстуры, выдал ленточку жаропонижающих, флягу забрал себе в сумку.

– Отлежишься и иди в волонтерскую, простое переутомление. Что и требовалось доказать.

– Чего? – прохрипел Павел.

– Не место тут мирским. Накрывает вас хуже, чем в кабаке. Думаешь, первый такой у Данилова? Лежит в жару и сивухой несет? То травятся, то топятся. А бухают! Хоть святых выноси. Особенно в Зимней, я удивляюсь, как еще не спалили гадюшник этот.

– Данилов – это вы?

– Ты думал, я кто, Чудотворец Николай? Потому мирских и переселяют с острова. Вы всё недовольны. Инок одну квартиру свою в Москве продал, чтобы трешку купить местным в Сортавале. Переезжать не хотели, носы чуть не отвалились от жизни такой развеселой, – постучал по сумке, где топорщилась фляга.

– А Подосёновых вы не знаете? Может, тоже куда переехали? – Глаза Павла тяжелели, но танк, похоже, капитулировал.

Данилов покачал головой: нет таких. Гоша вошел с чайником:

– Когда его на работу можно?

– Завтра. Не раньше! Береженого Бог бережет.

Уходя, Данилов строго посмотрел на Гошу.

* * *

Утром в подвале Работного дома Ася перебирала семенную картошку. Пахло крахмалом, землей. После осенней уборки ее и так рассортировали по трем категориям. Теперь отец-эконом велел всю ссыпать в кучу и перекладывать на шесть сторон: мелочь на корм скоту, три по цвету для посадки на разных монастырских полях (розовая южная не жаловала глинистые

низины, желтая – наоборот, тянулась к влаге, синеглазка подходила ко всему, но ее для порядка собирали в отдельный мешок), самая крупная шла на стол владыки и его гостей, а средней крупности – на кухню и в трапезную, монахам и трудникам. В прошлом году часть этой средней картошки отсыпали в мешки мирянам, и на магазине появлялось объявление о раздаче с трех до пяти по средам. Ася сама его клеила, а потом зашла в Зимнюю, кого встретила – рассказала, чтобы не забыли прийти.

А еще прошлой весной раздавали хлеб и масло.

В этом году никаких объявлений Асе клеить не поручили. Спросила отца-эконома, пришедшего понаблюдать. Вышло резко, гулко: «Не да-ди-те?!» Включенная отцом-экономом пищалка от крыс, как визгливая секундная стрелка, нервировала, дергала. Отец-эконом не ответил, заторопился из подвала. Его черная куртка на спине до того засалилась и выцвела, что порыжелла. Обернувшись на ступеньках, он с такой горечью глянул на Асю, что стало зябко.

Так на нее в детстве смотрела, возвращаясь с работы, мама. Ася, перепачканная мелом, на асфальте играла с подругами в битки. Мама, подойдя к подъезду, качала головой, но не тянулась, как другие матери, вытереть Асины щеки наклюнявленным носовым платком. Не загоняла ее домой умыться. Нет. Она просто смотрела на дочь как на недоразумение и проходила, стуча каблуками, в подъезд. Дома Ася первым делом видела в зеркале размазанный след на щеке с прилипшей к нему летней пылью. Став взрослой, ловя на себе мимолетные взгляды знакомых, Ася спрашивала, не перепачкала ли она лицо.

Однажды, придя домой, тщательно перед тем причесавшись и утеревшись у витрины магазина, Ася увидела спину матери, тонкие ноги, повисшие над полом, разлохмаченный пучок на затылке. Ася любила смотреть, как мать распускала волосы перед сном, вынимая шпильки. Те, звенькая, падали на стол, заставленный пузырьками лекарств.

Ася охрипла, онемела, выбежала к соседям, в тетя-Дусин халат уткнулась, когда маму вытаскивали из петли.

Она знала, какое у нее будет сердитое лицо. Она не хотела его видеть.

Отец, вернувшись из командировки, будто не сильно удивился. Потребовал записку, которую столько раз мусолили, что чернила местами растеклись. Ася помнила ее наизусть и в свои десять лет не понимала, зачем мама написала так: «Никто не поможет: ни люди, ни врачи, ни Бог». Врачи у них бывали редко, давали таблетки «от бессонницы», людей мама не приглашала, о Боге Ася узнала только после похорон, когда приехала тетка.

Тетка была старая, своих детей не имела. С утра до ночи она полировала шкаф-«стенку». Как-то, заперев окно, чтобы мухи не летели, умурила своим полиролем хомяка. Тот жил в круглом аквариуме без воды, был черноглазый, с палевой шерсткой под цвет подстилки из опилок. Ася его обнаружила первой. Лежит на спине, лапки куцые, зубы торчат – будто задумал ее напугать. Тетка его вышвырнула, аквариум вымыла, прибрала в шкаф. Ася не плакала.

Тетка варила борщи, жарила котлеты, паковала всё в холодильник и морозилку, рассказывала Асе, как греть, что есть утром, что вечером, что отцу сказать. Ася редко гуляла с подругами: те играли в куклы Барби, она перебирала мамины шпильки. Когда с маминого зеркала сняли простыню, тетка поставила туда «иконку». На ней старик с голубыми глазами и в короне. Тетка звала его Николой. Лампаду в квартире отец не разрешил, боялся пожара. Несколько раз он пытался поговорить с Асей, объяснить, что мать была больна, что Ася ни при чем, хомяка этого жалел.

Отец женился второй раз, когда Ася уже была в институте. Она хотела стать врачом, не прошла по конкурсу. В итоге поступила в медучилище, оттуда на заочный, на химика. Ася хотела разобраться, почему какие-то вещества вышибают ее из колеи, как когда-то маму. Отчего ей надо выпить глоточек с утра, чтобы соображать?

В институте и мужа нашла. Хорошего.

С утра Асе было беспокойно – Павел не появился ни на завтрак, ни на картошке. Перебирая клубни, она все оглядывалась на тех, кто заходил и выходил из подвала, и размышляла, что с ним могло случиться. Бородатый сказал, что Павел в волонтерской не ночевал. Гоша буркнул, что «москвич» заболел. От этой новости она забылась, ссыпала рассортированные Машины ведра в один мешок и понять не могла, чего та разоралась. Ей хотелось пойти разыскать Павла, посмотреть, что с ним стряслось. Она, когда увидела его на причале Приозерска, строгого и растерянного, за взрослыми очками глаза детские, – догадалась, что теперь исполнит волю старца Власия до конца.

Зажмурилась: вот он, старец, стоит перед ней, сухой совсем, волосы белые, как туман, ниже Аси ростом. Пришлось согнуться к его руке. Как у него побывала, решила, что лгать нельзя, ложь – начало отрицания. Хлоп! И начнешь всем рассказывать, что не болен, не зависим, можешь по желанию закурить, выпить в честь праздника, потом «тормознуться». Так говорили бомжи, к которым Ася прибилась, уйдя из дома. Было плевать, что муж ее ищет. Все тело горело и чесалось до одури, если не выпить. Грязь, вонь, лапы чужих мужиков, почерневшие зубы, которыми они кусали ее тело – все было неважно. Горчинка водки в горле, всего стопка-другая тушила пожар, она легко выдыхала, и еще какое-то время воздух протекал сквозь нее медленно, как река, и пальцы находили покой.

В прошлом году, как очистилась на Валааме, Ася к мужу ездила, в Питер. Думала, старец его вернул, развернул к ней. Муж говорил с ней через дверь. Вереск, их лабрадор, царапал косяк лапой, скулил. Муж не отдал его. Не открыл.

Он вытерпел шесть лет, два они прожили счастливо, катались на лыжах в горах, к ним приходили гости, засиживались допоздна. Начали строить дачу под Гатчиной. Ася принимала по чуть-чуть, утром, для бодрости. Тогда ее глаза становились молодыми. Только вот черные густые волосы редели, серели – как трава, шибанутая первым заморозком. Закрашивала. Как-то зимой она и сама не заметила, как вместо работы пошла в магазин и вернулась следующим утром, накуренная, в разорванных колготках.

В клинику ее увезли после того, как она пропадала несколько дней, а придя за деньгами, свалилась в подъезде, перегородив собою вход так, что соседский мальчишка до крови расшиб ей затылок дверью. Он побежал звонить им в квартиру, Асе запомнилось, что паршивец через нее перешагнул. Муж был в отъезде, Ася слышала, как в прихожей надрывается Вереск.

Муж потом говорил, что Ася звонила ему и врала, вполне убедительно, что сидит дома, что заболела, потому и голос чудной. Она не помнила. Он ее отчитывал, ей хотелось, чтобы он заткнулся, скорее налил. Лезла в драку. Он держал ее локти и сжимал всю до боли. Странное дело, в медучилище она сначала не могла соображать, подвыпив. Теперь, наоборот, без пары стопок мысли путались.

Когда в клинике над ней за деньги *сжалилась* санитарка, Ася смогла хоть что-то сплести для мужа. Обещала бороться. Прощения просила у Вереска, пес скулил в трубку. Вернулась из клиники с бритой головой – зашивали рану. Волосы отрастали вовсе седые. Впрочем, в завязке морщины разгладились, Ася выглядела неожиданно молодо. Тогда они с мужем ребенка зачали, выносить не удалось – врачи сказали, организм подорван. Нужно время. Время. Об этом страшно было и подумать, Ася, забравшая у отца того голубоглазого «Никола», молилась: «Дай мне один день продержаться трезвой, один только день, один».

Продержалась.

Для восстановления сил Асе прописали крепкие бульоны, она поставила воду на газ, вытащила курицу из морозилки, оттуда выкатилась стопка, покрытая льдом. Ася выскочила в магазин прямо в тапках. Вернулась вроде быстро, ковыряла ключом в замке. Дверь распахнулась, по квартире гулял сквозняк, газ почти выветрился. Муж орал, что она испоганила ему

жизнь, потом ей в лицо прилетело что-то холодное, сырое, как жабье брюхо. Щеку ошпарило льдом. Муж дубасил ее курицей, хлюпавшей, так и не оттаявшей до конца.

Гоша не пустил к Павлу, отправил Асю на Гефсиманский скит. Одну. Почетно, да не то, чего хотелось. Перейдя Кирпичный канал, который называли «канавкой», а по большим праздникам – Иорданом, Ася свернула на грунтовку. Там ее подобрала машина. Ася, вообще-то не любившая долгих прогулок, села и пожалела, что согласилась ехать. Столько всего надо было обдумать по пути. Но вот уже мелькнуло за окном Лещёвое озеро. Показался Гефсиманский скит. Храм нежный, будто песочный замок, и купол над ним лазурный, свежескрашенный.

Ася ждала у входа в храм. Вышел инок. Смутился, что прислали женщину. Выдавая ей тряпки, миску с мыльной водой, он смотрел только на полы своего облачения.

Ася начала с часовни за воротами. Там под лазурной, в тон храму, крышей стояла икона «Моление о чаше». Резная икона, новая, свежего золотистого дерева. Спаситель уже сомкнул ладони, вытянул руки, посуровел лицом, готовый все вынести. Чаша лучилась над ним. Только вот Ася смотрела на ногу Христа, выглядывающую из-под одежд: такую земную, к земле прикишующую. Ступня была маленькая, едва ли не детская, наполированная, будто резчик прошелся по ней ворсистой ветошью, раз, другой и третий, как, бывает, натирают нос какой-нибудь статуе в парке. На удачу.

Стекло иконы было мутным, захватанным, в разводах. В углу кокетливый пластинчатый след покрашенных губ. Ася намылила, вытерла. Потом прошлась еще и еще. Тряпка расквасилась – никак не отжать насухо. Ася стянула свою серую шапку, размашисто проскользила по стеклу в одну и другую сторону. Разводы сошли: теперь Христос стоял на коленях перед камнем, чаша в левом верхнем углу ожидала, а между ними отражалась Ася. Седая и влюбленная.

Храм она убирала, напевая.

* * *

Павел во сне задыхался, карабкался, что-то кричал. Слышал ответ, не мог понять, с какой стороны. Скатился с кровати, очнулся на полу, в живот воткнулось металлическое, круглое, как наперсток. Вытащил, поглядел – крышка от фляги. Вспомнил, как оказался у Гоши в комнате, как говорил с Даниловым. Потом Гоше кто-то позвонил, и он сказал: «Не, рановато пока, я еще свои пятнадцать лямов не поднял». Цифра застряла в памяти.

Теперь Гоши в комнате не было – за окном пасмурно, телефон разрядился. Прислушался, не ударит ли колокол. Тишина. «Ты прям местный стал», – усмехнулся себе Павел и почувствовал, что здоров. Одежда сырая, вонючая, простыня – хоть отжимай, а сам он даже поясницу не ощущал натруженной. Решил зайти к себе переодеться.

В волонтерской комнате сидел Бородатый. Чайник, пропищав, вскипел, Бородатый налил себе чашку, Павлу не предложил. Павел упал на свою койку, воткнул зарядку в телефон, включил и нахмурился. Двадцать пять пропущенных вызовов от Олега, бывшего начальника, еще до Нового года ушедшего из «Интеграла» в игорный бизнес. Переманили. Эсэмэс: «Паш, в почте офер, срочно дуй назад». Олег как он есть, всё ему «вчера». Под окном, где всё так же вздрагивали от сквозняка открытки-иконы (и где Павел еще в воскресенье поймал интернет), загрузилась, наконец, почта. В письме Олег предлагал Павлу «старшего тестировщика», да еще и с тройным, против «интегрального», окладом, акциями компании, прочими плюшками. Павел аж нули сосчитал, закрывая пальцем экран. Всё верно. «Принять сегодня. В четверг выходишь». Павел знал, что Олег срок не сдвинет.

– Сегодня какое? – спросил Бородатого.

– Вторник.

Бородатый ответил как обычно, но Павла это взбесило. Он вышел в туалет, снова стукнувшись лбом о косяк, чертыхнулся, вернулся, хлопнув дверью, отчего календарик с «Валаамской» улетел на пол.

– Черт! Приклеить их, что ли?!

– У тебя всё хорошо? – Бородатый смотрел на Павла как на помешанного. – Если ожил, мож, на работу выйдешь?

– Вот я и хочу. На работу. Где тут вертолетная площадка была, не знаешь?

– Она для патриарха.

Павел выматерился про себя, прошел туда и сюда по волонтерской. Встав у окна, вбил в поисковике рейсы из Пулково. Потом трансферы с Валаама. Пока страница грузилась, набрал номер администратора, услышал: «Алё, ш-ш, алё-о? Вас не слышно. А-а-алё?» Павел посмотрел на пол: его сапог стоял прямо на «Валаамской». Убрал ногу, на облаке, белом, нежном, остался отпечаток подошвы – ромбы, прямоугольники, грязные, трафаретно четкие. Павел засунул телефон, на котором уже прекратились короткие гудки, в карман. Ему вспомнилась крупная плоская родинка на шее Олега, такая же четкая, коричневая. Захотелось никогда его не знать и никуда не уезжать. Поднял иконку, отер грязь. Стал выбирать, куда ее приткнуть, чтобы не падала больше. Над столом плакат «О грехах наших» держала кнопка. Обошел Бородатого, подтянулся, приколот иконку поверх плаката, закрыв «Чревоугодие» и «Сон днем без нужды»: «Не возражаешь?» Бородатый выплеснул остатки чая с пакетиком в ведро. У двери, не обернувшись, бросил: «Вот, вынеси, если нефиг делать».

Во дворе Работного дома стоял большой мусорный бак. Куда дальше отходы отправляют на этом острове? Наверное, в Ладогу спихивают, подумал Павел, или в лесу закапывают. Две старухи в черном прошли мимо, кивнули Павлу, продолжили спорить: «К старцу завсегда пешком, я тебе говорю. Ну и что, что ноги? У всех ноги. Машину тебе никто не подаст». Павел вбежал в келью, сменил сапоги на кроссовки, надел чистую рубашку, воткнул в телефон переносную зарядку, решив записать старца на диктофон, – может, после еще переслушает, что он там наговорит. Пустился вслед за старухами.

Старухи уже обогнули причал, завернули в лес, шли быстро, Павел едва поспевал. Снег еще покрывал землю в низинах под соснами, но было тепло, куртку пришлось расстегнуть, вскоре и вовсе нести в руках. Справа у самой воды, черная с золотом, посверкивала маковка часовни Ксении Петербургской. Новенькая, Ася говорила, ее только поставили. От нее в воду уходил длинный причал. И Ладога у свай была черная в тени деревьев. От прошлогодней хвои пахло сеном, на ветке болтался, как тина на удочке, тот самый мох-бородач, про который толковал Гоша. Скорее со старцем поговорить и домой. Или, может, на море – полежать недельку. Или offer принять? Что это на него нашло – родинки вспоминать? Деньги хорошие.

Старухи скрылись из виду, Павел прищурился. Дорога бежала вниз, к луже в форме Африки, разъезженной машинами, поднималась на другой холм, видимо, скрывший старух. Павел прибавил ходу, чуть проскользил, обходя грязь, вытер кроссовки о прошлогоднюю хрусткую пижму. Вдруг нога съехала прямо в лужу. Противно оледенели пальцы. Подошву присосало. Павел дернул другой ногой и рухнул в лужу задницей. Грязные кроссовки задрались, с них затекала в штанины густая серая жижа. Зарядка намочла, телефон в нагрудном кармане сухим остался – и то спасибо.

Павел оглянулся – не видит ли кто? С ветви соскочила крупная птица, улетела прочь. Старух отсюда не разглядеть. На карачках вылез из лужи. В ней же, как грязь осела, помыл руки. Глина уже застывала на ветру, становилась сизая, как цемент. Павел оглядел себя и поплелся назад, втыкая носы кроссовок в остатки снега.

В дверях Работного дома Павел столкнулся с Асей. За ней Бородатый нес на плече полмешка картошки, где-то на лестнице переговаривались челябинские. Все болтали о том, что отец-эконом благословил жечь костер, выделил дров и картошки из монастырского запаса.

– Я... я догоню, пойду душ приму. – Павел все скреб ногтем глину с джинсов.

– В баню собрался? – Ася сдерживалась, чтобы не расхохотаться. – Так она в четверг только.

– Павел? Я думала, ты болеешь. – Маша вышла из подъезда неслышно, по-кошачьи, и Павлу сразу стало неловко за свои джинсы.

– Да я вот местность осматривал.

– К старцу, что ли, ходил? – Ася подмигнула. – Там такая лужа, с Африку величиной. Многие тонут. Те, кому рановато.

Откуда она все знает?

– На, возьми вот печенье, а то тяжело тащить. На исповедь бы тебе, конечно. И тогда уж после Пасхи к старцу.

Ася пошла вперед. «Да я уже в Москве буду», – подумал Павел, принимая коробки, и посторонился, пропуская Машу, чтобы она не видела его зад в грязи.

Костры разводили за территорией монастыря, на самом берегу Ладоги. Место называлось «Первая точка»: Ася, нарочито окая, передразнивая отца-эконома, именовала его *Петровским мысом*. К Первой точке от Работного дома вела проезжая дорога, грунтовая, плотная. Вдоль нее росли могучие мрачные сосны, под ними зеленым, серебряным, красным лоскутным одеялом лежал карельский мох. Павлу, теперь нагруженному коробками с печеньем, хотелось прилечь, обдумать эти два дня на острове. Но вокруг у всех было приподнятое настроение, даже Вика, которая держала строгий пост «для очищения женской энергии», готова была к жареной на постном масле картошке. На Точке нашлось не только масло, но и решетка, сковорода, даже соль с перцем. Вполне себе туристическая стоянка для неверующих.

– Наш игумен душка, всех приезжих принимает. – Ася всю распоряжалась у костра.

Павел задумался, а не лучше ли ему переселиться в гостиницу. Вроде она открыта. Взять оттуда такси, доехать до старца, потом сразу в Москву. Без камней и огородов. Вспомнился разговор с администратором: забирая его анкету, она намекнула, что волонтеров и трудников старец скорее принимает и благодати больше. «Старца расспросите, остороженько, не наседайте. Отец Власий все увидит, точно вам говорю, – запнулась. – И молитесь, в общем, у икон. Это работает». Как молиться? В какую сторону? Со злости Павел бросил как попало коробки и, пиная шишки, спустился в бухту. Ближе к воде разговор уже был не слышен. Ладога качала белые льдинки. Камни казались плоскими, с них была смыта почва – тоненький слой, прибитый мхами, укрепленный соснами, приколоченный монастырскими постройками. Пожалел, что не взял тот полосатый камешек с поля.

Слева виднелся Никольский скит, Павел рассмотрел зеленый шатер и маковку, справа тянулись резные бухты, впереди небо гляделось в воду. В этой безграничной синеве, рискуя соскользнуть с мокрого валуна, сидела Маша. Она полоскала ложки, ее руки с длинными, вишневого цвета ногтями покраснели от холода и, видно, начали неметь, но она все намыливала олово, водила им по воде, точно суп размешивая, и хлюпала носом. Павел хотел подойти к ней, но постеснялся: кроссовки он оттер, а джинсы только стирать теперь. «Красивые, переухоженные женщины – самые несчастные, не связывайся», – твердила баба Зоя. В молодости она была лопухая, щекастая, но, по словам деда, бравшая обаянием.

Павел нехотя вернулся к костру. Там осталось лишь одно место – возле Аси. Она, ничуть не дорожа своей курткой, сидела ближе всех к огню и почерневшей лопаткой переворачивала пласты картошки. Та была особого, валаамского сорта, желтая, охряная, в поджарке она становилась оранжевой, пахла сладостью. Ася рассказывала, как работает в реабилитационном центре у себя во Пскове. То и дело пробовала жарено, жестом показывая Вике, сидящей напротив, подсолить. Бородатый (это прозвище так закрепилось, что Павел обращался к нему всегда с «э-э», чтобы вспомнить, как его зовут) колот дрова поодаль.

– Он мне: я не алкоголик, – с усмешкой рассказывала Ася. – Я так, приболел просто, вот и лежу в больнице. Я ему: вы что, не видите, у вас на окнах решетки? Он: дак это мороз, морозные узоры.

– Сумасшедший? – Вика, оставившая на мужа и свекровь своих близняшек-шестилеток, удивлялась Асиным историям еще с Приозерска.

– Зависимый. Такие верят в то, во что хотят. – Ася медленно стащила с головы шапку, вытерла пот с лица. – Ну, давайте, что ли, тарелки.

Зазвонили колокола с вечерни, солнце покатилося к закату где-то с обратной стороны острова, Асина стрижка вспыхнула золотом и опять стала седой, замерзшей. Когда к ней со всех сторон потянулись тарелки, Павел услышал: «Можно?» Подсела Маша. Она снова была подкрашена, от ее шарфа пахло тропическими фруктами, вкусно, но чуждо среди дыма и едва согретого солнцем мха. Павел передал Маше свою тарелку, куда Ася уже положила картошки с горкой.

– Можешь есть теперь медленно, как привыкла. На Валааме все сбывается, – усмехнулась Ася.

Маша сжала губы, ковыряла вилкой поджарки.

– Холодно, – начала было Маша.

– Кстати, тот мужик, что про морозные узоры толковал, звонит мне иногда.

– И чего ему надо? – Павел сам удивился своей резкости.

– Выговаривается. Ну и я с ним вспоминаю, как было херово... прости господи... плохо, и пока общаюсь, совсем не тянет выпить. Вот нисколечко.

– А так хочется? – Маша отставила тарелку.

– Ладно, у меня дела, – засуетилась Ася. – Тарелки помоеете тогда, вон их в ящик, под стол. И кружки, и ложки. Картошку сырую, хлеб – всё назад несите. – Ася, подобрав черную юбку, переступила через бревно, на котором остались Павел с Машей, кивнула и ушла по тропинке к Центральной усадьбе.

С криком пропали последние чайки, и только Ладога все ластилась к валунам где-то совсем рядом. Маша сказала, что пахнет дождем, придвинулась ближе. Павел смотрел на ее ресницы (слишком длинные) и губы (чересчур пухлые). Стало душно – вскочил, едва не перевернув бревно. Побежал следом за Асей.

У двери Зимней гостиницы, куда вошла Ася, дождь вовсю барабанил по детской коляске. Павел постоял под окнами трехэтажного здания, думая, не занести ли коляску в подъезд? Услышал позади голос, объемный, негромкий, обращенный только к нему:

– Новичок? Хорошее дело. – Красивый монах в черной рясе, под кривым черным зонтом, стоял на ступеньку его ниже. – Проходи, брат, что же ты?

– Да нет, тут вон коляска.

– Коляска? Господь с ней, она тут зимой и летом, аки пес цепной. Шурик вырос из нее, сам ходит. Ты из волонтеров?

– Я за Асей шел.

– Ася! Ася, брат, уже небось за меня всех распела. Пошли, пошли. Тебя не Фомой зовут? – Когда он улыбался, его усы топорщились. Стильные, как в городе.

– Павел.

– Ну а я Иосиф, регент хора. Спевка тут у нас для мирских.

От дверей в коридор вели каменные ступени, отполированные шагами, местами протертые до ям. Подслеповатые лампочки трещали. Каждое слово эхо повторяло раза четыре.

– Какая акустика! У тебя слух есть? – Иосиф обращался с Павлом по-свойски, будто просил закурить.

Пахло жареным мясом, луком и печным угаром. На первом этаже тут и там сложены поленницы. Девочка сидела у печной дверцы, выходящей отчего-то прямо в коридор, фыркала, забрасывала туда щепу. У двери с надписью «Младшие классы» Иосиф откашлялся, пропел знакомое «Молитвами святых отец наших...», перекрестился, вошел. Павла затащило следом. Обернулась Ася, стоявшая спиной. Черная юбка, водолазка. Без куртки она показалась хрупкой и совсем юной.

Протерев запотевшие очки, Павел разглядел собравшихся на спевку. Перед ним, кто с тетрадными листками в руках, кто навтыжку, качаясь с пятки на носок, стояло человек десять: старики, женщины, подростки и, видимо, тот самый Шурик, выросший из коляски. Шурик держался за брюки мужчины, что в первый день едва не расшиб Павлу плечо на ходу. Павел назвал, протянул руку. Тот пожал, буркнув: «Митрюхин». Женщины смотрели на Павла с любопытством.

По знаку Иосифа хористы запели в унисон «Богородице Дево, радуйся». Шурик открывал рот, выглядывая из-за штанин отца, рассматривая Павла, отошедшего в угол комнаты, откуда видны были и хористы, и регент. Иосиф кивнул Асе, и она низким-низким голосом загудела мелодию, как бэк-вокал. Звук пробирал тело насквозь, будто сам Павел стал колоколом. Он сел на парту, сдвинутую к стене. Напротив на доске были написаны ноты с крючками, похожими на математические корни.

– Братья! Братья. И сестры. Вы так пчел отца Кирилла до срока поднимете.

Хор отвечал Иосифу дружным смехом, точно этой шутки ждали, чтобы снять возникшее при чужаке напряжение.

– Исон может быть только один, его нам Ася поет. Кому не слышно, подойдите ближе. Прямо ухом над ней разместитесь и гудите с усердием.

Застучали половицы, хор зашевелился, перемешался. К Асе пристроились старуха, певшая совсем не в лад, и бритый наголо пацан. Он таскал из кармана семечки, сбрасывая шелуху за радиатор. На вид лет шестнадцать, держится особняком, футболка застиранная, на кроссовках коричневые проплешины. Павел смотрел на него долго. Пацан все больше казался похожим на портрет, который баба Зоя ставила на новогодний стол, приговаривая: «Ну вот и Петя с нами встречается». Нос у этого поменьше, да, но тоже крупный, жаль, волосы не разберешь – курчавые или нет. Впрочем, если он пошел в мать? «Мать...» Павел будто снова читал то письмо, где о ней, жене Пети, ничего, кроме троеточия.

Начало апреля в этом году выдалось теплым, снег в Москве сошел за несколько дождливых ночей. Забрав наконец со спецстоянки «Победу», Павел заехал в гараж и сидел за рулем, не закрыв ворота, не зная, что же теперь. Впервые в жизни он остался не у дел. В квартире на Покровке его ждала только немытая посуда в раковине. Баба Зоя такого бы не потерпела, но вот уже три месяца, как ее не стало. А машина все еще пахла лаком...

Вспомнил, как на Старый Новый год он мчался к бабушке в больницу: пусть из окна хотя бы поглядит на восстановленную семейную «Победу». Павел сюрпризов не любил, но баба Зоя – чудачка, могла и встряхнуться. Впрочем, врач сказал, что надежды нет: «Второй инсульт в таком возрасте, хорошо, если успеете попрощаться».

Было скользко, Павел ехал быстро, но не превышал. Встречные машины притормаживали, соседние пропускали. Еще бы, такое ретро. На светофоре Павел еще раз подергал бардачок: нет, без ключа не открыть. Поднял голову: зеленый – тронулся. Наперерез машине мелькнула черная куртка, раскатились по дороге не то яблоки, не то помидоры.

В участке потом сказали, что гражданка на месте умерла. Алкоголичка, психопатка – не первый раз под машину кидалась у этого светофора, «твоя, видать, “Победа” понравилась». Тем вечером умерла баба Зоя, так и не дождавшись внука. Позвонили.

Пока шли разбирательства, суд, на котором Павла признали невиновным, фотографии (его и «Победы») мелькали в районных новостях. Павел жил на автомате. Похороны. Поминки. Работа. Бумаги. Слушания. Коллеги в офисе шептались и косились с жалостью. Скоро Павла «попросили», всучив три оклада: сам понимаешь, ты у нас в «Интеграле» европейский проект ведешь, они толерантные, нервничают. Павел решил, что и ему отдохнуть пора, хотя бы хлам из квартиры выкинуть. Разобраться. И машину эту продать, что ли? После суда ему звонил какой-то тип, просил «Победу» не то в музей, не то в коллекцию. Она из первой партии, сорок шестого года, таких наперечет осталось в стране. А эта на ходу.

На ходу. Знали бы вы, сколько этот ход стоил. После аварии, той, первой, в которой погибли родители, дед запер машину в Бутово, на даче, на которую все махнули рукой. Домик покосился, а гараж стоял крепкий. Баба Зоя говорила, что дед любил эту машину и в гараже возился с удовольствием, пока не «случилось». Так баба Зоя называла аварию – «случилось». В последний год она часто плакала, а Павлу загорелось. Он просто вскрыл замок гаража, врезал новый, ключ отдал механику. Механик, тощий, глазастый, как страус, едва не обнюхал покореженную «Победу», сказал: «Восстановим, если три такие же пустим в расход». Павел подумал, согласился. Ипотеки у него не было, платили в «Интеграле» прилично – треть зарплаты он бабе Зое на хозяйство отдавал, треть – пускал на «Победу». Механик уведомлял его, что установил бампер, сиденья, какие-то детали. Павел перекидывал деньги. Печка в машине работала исправно, а вот ради двигателя и правда пришлось купить еще одну «Победу». Полгода ее ждали. От другой машины взяли левое крыло. Пришлось дважды перекрашивать, чтобы добиться того самого дымчатого оттенка.

А вот теперь не надо никуда ехать. На бампере «Победы» небольшая вмятина. Можно чинить или так продать. Все равно. Павел увидел, как что-то блеснуло на стене гаража – сообразил, что механик все же подобрал ключ к бардачку. Вышел, захватил ручной пылесос, понимая, что найдет внутри ворох мусора. Надавил ключом, щелкнул замок, дверца откинулась. Заглянув внутрь, Павел зашвырнул пылесос на заднее сиденье, погрузил в бардачок обе руки (нежно, словно ловил там бабочку), выгреб пригоршню отсыревшего табака пополам с обломками сигарет. Втянул запах. Понял, что вот это, это отец его курил. Еще в бардачке были желто-коричневые фантики «Золотой ключик». Это он, он их ел, ириски эти. К фантику прилип обрывок бумаги, сложенный вдвое. Край обтрепался, почернел. Павел развернул, прочел, да так и присидел в машине, пока совсем не стемнело. В письме обращались к бабе Зое:

Дорогая Зоя Кондратьевна!

Вы меня не знаете, а я к вам с просьбой. Ваш брат Пётр Подосёнов проживал в доме инвалидов на Валааме. Я тоже инвалид, фронтовичка, сестра жены его. Родня мы, выходит. Может, вы и знаете, что он тут обитал, тогда извините за беспокойство. А нет – так заберите отсюда хотя бы его сына. Пропадет ведь среди обрубков и психов. Или сохнет.

Я безногая, отец его – тоже был. Мать...

Тут у нас порядки меняются, может, нас всех скоро переведут отсюда. Не знаю куда. Парень восьмилетку кончил уже, хоть в техникум какой его определите там, в Москве. Он головастый, хороший. Пропадет тут.

Пётр, может, и не писал вам. У него два ордена Красной Звезды, на тележке он ездил, утюгами отталкивался. Погиб он. Если вы живы, срочно приезжайте на Валаам любым теплом, я вам на месте все расскажу. Спросите...

Край письма был оборван. Павел тогда еще пошарил – нет ли конверта? Нет. На пальцах осталась последняя, истлевшая в пыль, щепотка табака.

Павел слез с парты, подтянулся к пацану ближе. Никто не курил, но он ощутил сырой сладковатый табачный запах. Тот, из семейной «Победы». Пацан взглянул на него исподлобья, оборвав ноту, которую только подхватил. Попятился за спину Митрюхина. Гудение разом умолкло. Дверь распахнулась. Зашел мужик, наоравший на Павла в бане: он снова держался хозяином.

– Брат Семен, – начал Иосиф, но тот быстро пробежал глазами по хористам.

– Ася, можно ты? – процедил, почти не раскрывая рот.

Ася откинула седые пряди, сверкнула глазами и, обогнув старушку, вышла за дверь.

– Ну что, Павел, подменишь? – Иосиф еще выше поднял подбородок, кивнул пацану, снова шагнувшему на первый план. – Ладно, давай, Митя, мне скоро на вечернее правило. Задачу помним? Услышьте верно две ноты и пропойте одну.

Новый смешок, пробежавший от хориста к хористу, будто рассеял чад, проникший с Семеном.

* * *

Ася прислушалась:

– Эх, хористы. Никто исон без меня не вытянет. Ладно, чего хотел-то?

Они стояли в противоположном от класса конце коридора Зимней гостиницы, возле двери Семена. Мама и отец поселились в этой комнате сразу после регистрации. Слово-то какое. Это мать называла «регистрация», отец вообще то событие не вспоминал.

– Уведи ты этого регента отсюда. Пусть в храме у себя лялякает, я же к ним не хожу. Зимняя – наша территория.

– Так говоришь, будто война идет.

– Разве нет? Знаешь же, что ждем повестку в суд. Если в нашу пользу решат, чтобы ноги его тут не было. Так и передай, и нечего волонтеров сюда таскать.

– Да? Может, и мне прикажешь не соваться?

Когда Ася злилась, ее глаза делались зелеными. В каждом – по салюту. И зад ее, пока шли, Семен снова оценил. Женщина что надо.

– Я про новенького.

Ася улыбнулась. Зубы у нее ровные, острые даже, как у куницы. В том конце коридора раздавалось мерное гудение, вроде вьюги.

– Да тут вообще спевки не слышно! Не придумывай, короче. – Ася всмотрелась в Семена с усмешкой. – Ты пошел бы, похмелился, а? Или не на что посидеть?

Рука Семена сжалась в кулак, пальцы хрустнули. Ему хотелось ее и ударить, и обнять. Лампочка светила ему в затылок: хорошо хоть Асе не видно, как он напрягся.

– У мужчины всегда деньги есть, в отличие от монахов твоих.

Ася повернулась и ушла, напевая. Семен смотрел, как юбка мелькает при ходьбе, и чуть не рванул следом. Нет. Не собачонка он. Никому больше собачонкой не будет. Тут Ася будто услышала, обернулась.

– Что? Какая собачонка? Ты учти, лаяться на этой неделе ни-ни. Страстная идет. Слушай, я тебя попрошу?

Семен аж вытянулся по стойке смирно.

– Пошел бы извинился.

– Обойдешься.

– Ну тогда прости Христа ради.

Семен вошел в свою комнату, с досады хлопнул дверью. Задребезжали стекла. Он включил весь свет – и трехрожковую люстру, которую матери прислали «с материка», и торшер, хотел еще электробриту воткнуть. Знал, проводка в Зимней хлипкая, пусть на этой проклятой

спевке хоть лампочка у них помигает. Побрился бы заодно. Глянул в зеркало: щетина седая вылезла, а так – порядок, больше пятидесяти не дашь. Ну еще постричься бы надо – зря с Танькой Митрюхиной разругался, у нее рука легкая.

Электробритву не нашел.

Плеснул в плошку из чайника, намазалил отцовский помазок, изрядно облысевший, выскреб щеки до синевы. На кухонном столе в литровой банке стояли две вилки и две ложки. Чайные ни он, ни батя не признавали. Мать, когда была не в настроении, звала их варварами. Ее серебряная ложечка давно затерялась. Скорее всего, сперли. Люди в Зимней живут нормальные, но, когда выпить хочется, могут тому, кто наливает, и обручальное кольцо поставить. Дед Иван по молодости коронку изо рта выдрал, клялся, что платина. Ася, говорят, тоже поддавала знатно в свое время. Семен, сколько ни пытался спиться, не выходило. Вывернет его поутру, голова позвенит – и как с гуся вода. Еще неделю, а то и месяц, к бутылке близко не подойдешь. Да и когда хмелел, забыться не получалось.

Люстра и впрямь замигала. Ага!

Одна из лампочек, тренькнув, перегорела. Наспех смахнув со щеки пену полотенцем, хотел взять стул, выкрутить, занес было ногу... На стуле отцовская телогрейка и тельняшка. Это он, Семен, ему дарил. Хотел подарить. По полоскам дырки пошли, но отсюда не видно. Телогрейка до черноты засалилась, блестит. Собрать в таз, замочить, постирать недолго. Надо ли?

У двери две кровати через проход застелены «кирпичом», как отец учил. Дальше кушетка Семена. Она одна новая в этой комнате. В старой лежанке, в матрасе, завелись клопы, пришлось все сжечь. Засыпая, Семен всегда смотрел на шторку: узор, когда-то синий, стал сероголубым, белесым, ткань просвечивала. За этой занавеской в детстве он различал два профиля – один с тонким носом, другой грубый, морщины на лбу грядями. Ругаются шепотом.

Ближе к окну старый шкаф. Самодельный, таких сейчас не найдешь. Мать рассказывала, отец пригнал доска к доске, шкурил, морилкой покрывал. Такой еще сто лет простоит – только вот Семен внутрь не заглядывает. Он знает, что там. Укутанные простынями, пропахшие лавандой «от моли» выходные платья матери. Мать всю жизнь была худая, когда хоронили – и вовсе невесомая. Он принес тогда ее лучшее платье, просил старух обрядить. Посмотрели, как на буйнопомешанного: «Кто же в алом в гроб кладет?» Туфли взяли, платье он сам похоронил в этом вот шкафу. Еще там были сарафаны, юбки, блузки какие-то.

Как Ася сказала? «Пошел бы извинился». Закончили они там петь? И точно: не слышно ничего. А под половицы – ну, они же не залезут. Будь спокоен, отец.

Надо бы подарить Асе то алое платье. Она худенькая, как раз будет. Вот так и извинюсь. Подарочный пакет в лавке возьму. Я ей покажу – не на что похмелиться! Или надо помягче с ней.

– Правда как на войне живу, – сказал Семен дверце шкафа.

«Может, и мне прикажешь не соваться?» – в памяти Ася все его упрекала. Черт! Надо было ее позвать. Хрен с ним, с этим хором. Может, очкарик этот из любопытства приперся, сам по себе, не за Асей. Она же вот прямо сказала про «посидеть».

Конечно, она в завязке, но и чай вроде был. Семен встал, в углу над электрической плитой – коробки с пакетиками, там же две кружки, сахар, упаковки быстрой лапши, какая-то наливка, подаренный в прошлом году туристом вискарь. Плеснул себе в кружку на доньшко, выпил, поморщился. Затолкал бутылки в дальний угол, заставил лапшой. Подумал, что надо купить конфет или что там полагается к чаю. Семен сладкого не любил, разве что ириски в школе, но это когда было.

Он снова подошел к шкафу. Уперся в дверцу лбом, она чуть скрипнула. Из щели потянуло лавандой. Отпрянул, выскочил из комнаты, закрыл дверь. У соседей сегодня пили, всё нараспашку, тянуло куревом, громыхали вилки и тарелки. Семен прошел дальше, к «Млад-

шим классам». За дверью тихо – хористы разошлись. Вернулся к себе, взял виски и пошел на пьяный шум.

* * *

Хор разбрехался по комнатам. Ася не появилась. Павлу показалось, он слышит ее голос. Прошел по коридору, где с дверьми чередовались заслонки печей. Обернулся на стук: по лестнице поднимался старик с двумя палками. Это не были медицинские трости, как у бабы Зои, – легкие, из суперпластика. Нет. Два юных деревца, которые старик срубил, наверное, в переледке за полем с камнями.

Тут одна палка, вывернувшись, ударилась о ступени, подпрыгнула и покатила вниз. Павел отскочил. Поднял. На палке держались куски несоструганной коры.

– Сейчас! – крикнув, Павел поднялся на второй этаж.

Старик отдышал перед новым восхождением. Попробовал прислонить оставшуюся палку к перилам, она соскользнула, Павел взял было обе.

– Помочь вам?

Но старик забрал палки, прижал к себе, все повторяя «ничего-ничего». И это «ничего» клубком сматывало все смыслы: ничего, что мы так живем, ничего, что я едва хожу, ничего, что нет удобной трости, и, главное, ничего мне от тебя не надо. Старик уже не просто отдышал. Он ждал, пока незнакомец уйдет, не будет давить.

– Вы, случайно, Подосёновых не знаете? – без надежды спросил Павел.

– Чего? Захаров я.

Распахнулась ближняя дверь. Пополз сизый дым, пахнуло несвежей едой. В комнате на табуретах сидело человек пять. По очереди тыкали папиросами в банку из-под консервов. Обои в подтеках, у кровати пустые бутылки в ряд. Заметив Павла, мужчины разом стихли. Буркнув «извините», он заспешил к выходу и налетел на Иосифа. Столкнулись лбами.

– О-отец, отец Иосиф!

– Да какой! Мне только тридцать, – потирая ушиб, заправляя модно остриженную прядь под скуфью, сказал регент. – Какой я тебе отец.

Пока шли до ворот внешнего каре – монахи разбрехалась по кельям, чтобы творить Иисусову молитву, – Иосиф рассказал, как попал на остров. Из питерской консерватории приехали сюда с ребятами. Именно тут у него голос раскрылся, мощным стал, «таким, что, если бы пел так в консе, я бы, да ну, зачем...». Осекся.

– Зато я вот, видишь, теперь двумя хорами руковожу. Это не главное, но все равно приятно. Митрюхин, ну, рыжий этот, сказал как-то: развелся бы, если не хор наш. А так – второго ждут с Татьяной.

– Я, конечно, не специалист, но у него же голоса нет.

– У меня тоже не всегда голос был.

Колокол позвонил робко, потом еще раз. Иосиф отошел подальше от ворот.

– Меня игумен постриг пять лет назад. А когда в иноках ходил, одного брата постригали при мне. Тоже сам игумен. Как постригают, знаешь?

– Я спросить хотел...

– Срезают по чуть-чуть волос спереди, с боков, сзади. Типа крестом. А тот – лысый. Владыко ему: «Ну, брат, тернистый путь к постригу».

Тут монах в толстой куртке подошел к воротам, покашлял. Павлу показалось: и деликатно, и сурово. Регент торопливо кивнул, ушел.

– На полунощницу приходи, – донеслось из-за ворот.

Глава 3

«У, столбы неподвижные!» – кока Тома (Семен так звал ее с детства, не выговаривая «тетя») охала за дверьми палаты. Ей вторило несколько голосов. Семену не открывали. В свои пятнадцать Семен не вытянулся, но раздался в плечах. И не мудрено, по три раза на дню мотаться туда и сюда на Красный филиал с лекарствами, пеленками, ножными протезами. Обода, болты, ремни – протезы больше походили на ведра, чем на замену ноги. Васька, боевой товарищ отца, примерил: «С таким и культя отвалится». Отцу протез не предлагали. Вовсе безногий, он раскатывал по острову на тележке, грохоча колесами-подшипниками, отталкиваясь деревяшками-утюгами. И казался всех выше.

Навалившись плечом, потом еще раз, с хриплым гыком Семен вышиб дверь. На четырех кроватях стыдливо натянулись простыни. Запах так не прикрыть, да еще и окна в Центральном филиале Дома инвалидов узкие, с начала века остались, от монастыря. Пахло отсыревшими матрасами и мочой. Семен огляделся, куда бы поставить сумку с хлебом и присыпкой, переданной матерью. Кругом пеленки, простыни, мохнатые шерстяные платки, ночнушки в желтых пятнах. Кока Тома опомнилась первая: сообщила, что Лаврентьева, их санитарка, запила. Как на грех – в женский банный день. Попытались сами друг друга одеть. Женечка одной своей рукой управлялась с дверной задвижкой: «Вдруг зайдет кто, срам». Потом вместе с кокой Томой они собирали чистое, мочалки, мыло. Надеялись, что санитарка проспится, явится. Прошло два часа, женщины приподнимались на койках, роняли трости и костыли, бранили друг друга, плакали от немощи. До бани – это ж через весь поселок – самим не дойти. Да и баня скоро закроется. Кока Тома всегда говорила Семену, что лучше бы ноги ей отпилили вовсе. Чем такие, слоновьи, санитаркам пестовать: «Я бы тоже запила, лишь бы тушу вот эту не ворочать».

– На неделю засядем не мымшись. – Женечка отвела сальные пряди мышинового цвета со лба.

– Не вой. – Кока Тома затянулась папиросой, обернулась к Семену. – Мать где?

– Новых расселяет: они палату на четверых сначала просили, но у нас таких нет. И медкарты их где-то затерялись, все снова-здорово писать.

Женечка всхлипнула. Кока Тома обернулась с усмешкой:

– Слышь, Евгения, четверо мужиков прибыло, будет с кем сплясать тебе.

Кока Тома и впрямь приходилась Семену теткой по матери. Мать, Антонина, которую уважали на острове ничуть не меньше, чем отца-фронтовика, приехала ухаживать за сестрой в пятьдесят пятом, здесь вышла замуж. Сестры были вовсе не похожи. Мать не коснулись увечья, она сохранила молодость, волосы без проседи. Но дело было в характере. Мать строгая, молчаливая. Ледяная. Кока Тома, – хоть и застряла в сорок третьем «ну точно жаба» в ледяном карельском болоте: выковыривали ее оттуда ломом, потом в медсанбате грели, кололи шприцами, но ноги так и не зашевелились, – в противовес была живая. Всегда шутила. Войну прошла радисткой. Медали, на ее кителе они звенели в три ряда, звала «мой парад».

Балаамских инвалидов на настоящие парады не звали, на острове не горел Вечный огонь. Разве что по радио в День Победы благодарили всех оптом: живых, мертвых, искореженных – «за подвиг». Мать, показывая Семену, как заполнять медкарты, пояснила, что награды в них не значатся: ФИО инвалида да увечье. Иные и безымянными остались.

Вторую тетку, сестру отца, Семен никогда не видел. Отец не хотел про нее говорить – вроде как она погибла совсем молодой.

– Давай я тебя в баню откачу? На садовой тачке. Вон во дворе перевернутая. – Семен перехватил теткин взгляд, косящий на соседку. – И да, и Женечку.

Женечка закивала. Семен считал, что она не в себе, но официального диагноза не было, потому она и жила тут, а не на Никольском филиале – интернатской психушке. Говорили, Женечка была пулеметчицей в войну, и ее рука, теперь оторванная, погубила немало фашистов. В послевоенном голодном Ленинграде Женечка хотела покончить с собой одним прыжком в крематории. Когда ее заклинивало, она все толковала про «момент» – ворота печи распахнулись гроб впустить, надо было сигать в пекло: «Не успела. Скрутили. Привезли».

Двух лежачих старух, которые доживали свой век в Доме инвалидов, но наград не показывали, а может, и не имели, уговаривать на баню не пришлось.

Кока Тома поехала на тележке первой, сидела задом наперед, смотрела прямо на Семена. На кочках колыхались ее щеки, бренчали медали. Семену было тяжело, тетка весила шесть пудов, не меньше, на ступеньках едва не опрокинулась. Хоть привязывай. Везти Женечку и старух было легче. Старухи мало что понимали, вид такой, будто на ярмарку покатили. Женечка – хрупкая, невесомая. Задумался, что у нее хорошая фигура. Поглядеть бы.

Во дворе было душно и тихо, это хорошо, доедем без насмешек. А как быть с женщинами в бане, Семен не представлял. Одно дело – с мужиками. Отец и Васька в бане первым делом намыливали свой транспорт: костыли и утюги. Поливали из шаек, отставляли на просушку. Потом принимались друг за друга. На одних руках, мощных, раскачанных за годы увечья, подтягивались по лавке, рискуя оскользнуться на мыльной пене, хватали один другого за руку, как боролись. Похлопав о лавку мочалкой, принимались обстоятельно тереть друг другу спины. В слое пены спины были ладные. Стоило плеснуть водой – поле боя. Вот – розовые, пухлые шрамы от кое-как наложенных в медсанбатах швов, там – круглые, пулевые, тут штыковые, вспоровшие плоть как спелый арбуз. К их культям Семен давно привык – нечего там было рассматривать.

Васька первым окатывал своего командира из шайки. Семен, пришедший помогать, просто крутился рядом.

– Воды натаскать вам? – спрашивал отца.

– Да ну, Семен Петрович, – влезал Васька. – На Лещёвое ходил? Как нет?! Шуруй срочно, завтра будет поздно, клев уйдет.

Семену Васька был вроде старшего брата. Рыбу удить, на дерево влезть, рогатку смастерить с синей изоляцией и тягой из медицинского жгута – Васька всегда придумывал, чем его растормошить. И сам никогда не скучал. Снимет свой протез, шлеп в Ладогу – и плывет, как щука, Семен едва успевает. Не то пойдет грибов наберет в овраге – суп сварганит.

Война не только оттяпала у Васьки правую ногу, но и остроносое лицо попортила: такого не женить, говорила мать. Семен все детство думал, что Васька в оспинах, оказалось, это от снарядов, от пороха следы. Мелкие темно-синие порошинки попали под кожу, там и застряли – татуировка войны. Рассказывал о них Васька весело, ждал, когда спросят. «На Невской Дубровке нас с командиром пять раз убило» – Семен и его ровесники ахали.

Тем, кто воевал, бои осточертели, но больше говорить было не о чем.

Инвалиды на острове с каждым годом становились всё угрюмее, молчали. Прошлой зимой глухой Виктор повесился, надолго приведя всех в уныние. Умалишенные на Никольском филиале распереживались. Двое сбежали босиком по замерзшей Ладоге. Пока хватились, те закоченели насмерть. Похоронили всех троих в один день на старом кладбище в лесу, за полем и пихтами. На памятники не было ни сил, ни денег. Сумасшедшие еще и безымянными ушли. Три холмика теперь затянуло травой. Мать ходила туда «прибираться», возвращалась зареванная. «По кому? – думал Семен. – Мы их не знали толком».

И все равно мать для него была понятнее отца. Такая деловая на службе: кровь, культы и шрамы, замаранные самоварами простыни – нос не воротила от работы. Делала, и всё. И Семена учила. У него никак не выходило ровно выдернуть простыню из-под лежащего. Те, что повыносливее, стонали, те, что послабее, материли его на чем свет стоит. Без злости, от обиды.

Мать оказывалась рядом: «Не так, не так. Извините, он научится». Учился у матери на санитаря Семен года три, а наблюдал труды медсестер раньше, чем читать начал.

Он помнил день, когда решил стать врачом, у Васьки тогда аппендицит резали. Тот лежал на столе, худой, прикрытый простыней, как привидение. Суладзе по прозвищу Цапля, главврач, да просто единственный врач на острове, дал Ваське спирту, наркоз ушел на самоваров, а Ладога бушевала – на материк не добраться. Семен стоял у замерзшего окна, делал пальцем проталины. Свет мигал, потом и вовсе отрубился. Слабенький генератор больше двух часов в день не тянул. Цапля велел Семену встать рядом, держать фонарик. Мать ассистировала и все косила глазом – не рухнет ли мальчик в обморок. Нет, Семен следил, как скальпель взрезал кожу, где надо, аккуратно под тощими Васькиными ребрами. Цапля прошипел «успели» и плюхнул черное в плошку, которую подставила мать. Фонарик светил ровно. Пахло спиртом, мылом – от халата Цапли.

Цапля дребезжал рукомойником, в треснутом зеркале Семен видел белки глаз, желто-ваато-розовые, правда, как у птицы. Мать уже укрывала Ваську – тут Семен подбежал, откинул простыню, Васька пошевелился, дернул правым коленом, под которым костяной, обтянутый лысой кожей крючок.

– Дядь, дядя врач, а ногу ему когда пришьешь?

Цапля обернулся у двери:

– Вот врачом станешь и пришьешь.

– А почему тебя Цаплей зовут?

Врач ушел, а Семен бросился рассказать отцу про Ваську. Знал, что тот не спит. Пока с крыльца сбежал, путаясь в больших валенках, отметил, какой сугроб за вечер навалило. Домчался до дома, который звали Зимней гостиницей, пронесся по коридору, забарабанил в дверь. Отец всегда запирался на ночь. Семену при нем и с открытой дверью было спокойно – ведь сильнее его отца нет на острове. Дверь вдруг подалась, но отца не было в комнате. Семен заглянул за занавеску на свою кровать. Пусто. Даже на печку влез, распугав пауков, хотя знал наверняка, что отец сюда не поднимется.

На узком окне белели и синели узоры. Теперь и правда – Зимняя гостиница. А летом? Подышал на стекло, глянул в кружок: только снег, да керосинки по окнам мигают – свет так и не дали.

И вдруг Семен вспомнил, что сугроб-то курился дымком. Бросился обратно к больничке, подбежал к отцу сзади, хотел обнять. Отец стряхнул снег с тулупа, специального, обрезанного ниже пояса, развернулся на тележке. Стали лицом к лицу. Семен затараторил про Ваську, про то, как станет врачом, ногу Ваське пришьет, а потом и отцу пришьет две сразу, подольше придется повозиться, ну ничего, он привезет из Ленинграда наркоз и лампочку, которая не погаснет...

– Мать тебя искала. – Самокрутка рыхлым огоньком полетела в снег. – Давай домой.

– А ты?

Отец смотрел в окно, где Васька все никак не мог на бок повернуться. Там дежурила сестра, мигала керосинка. Семен почувствовал, как мороз ужалил щеки, мочки ушей. Понял, что перерос отца. Теперь смотрит сквозь иней на ресницах не глаза в глаза, а на красную звездушку на шапке.

С пятого класса мать разрешила ему обихаживать самоваров в десятой палате, где и Васька обитал. Они там были самые спокойные. Чаще всего Семен бегал на посылках, доставлял продукты с фермы: лодка из всего медперсонала была только у него. Вся школа знала, что он санитар, будет врачом. В восьмом классе остались вчетвером: он, девчонки и увалень Колька, племянник санитарки Лаврентьевой. Колька пас теткиных коз, прогуливал уроки, рыбачить с ним было можно, а вот поговорить – не о чем. Семен выпросил у Цапли журналы

по медицине, разьяснять статьи врачу было некогда, да и мать с утра до вечера суетилась, как белка. То к одним, то к другим. Лаврентьева, когда не пила, могла еще что-то сообразить, а так – разбирайся сам. Он все ждал статей, где расскажут о новых ногах и руках для инвалидов. Еще – про то, как вылечить контуженного Летчика. На Никольском этот герой лежал много лет, не меняя выражения лица.

Зимой сообщение с островом закрывалось. С воздуха могли привезти и сбросить продовольствие, да и то если чепэ. За зиму все здесь тощали, как звери. Обычно Семен не мог дожждаться весны, не только из-за еды, а потому что оживет турбаза на Красном филиале. В соседнюю бухту приплывут студенты, молодежь из Ленинграда с гитарами, симпатичные девушки. Семен смотрел на приезжих, прямо читал их. Как одеты, что поют, что курят. Городские были бледные, всё природой восхищались: «такая тишина, такая тишина», один чудак в прошлом году и вовсе фотографировал вереск. Лиловые кустики к осени покрывали пригорки, места пожарищ. Чего вереску так нравилось на пепелищах, Семен не знал, ботаника его не интересовала, в отличие от анатомии.

В этом году, говорили, на базу прибыла новая начальница, дочь рыбака Ландыря вернулась. Вроде красивая. Колька бегал на нее глядеть, сказал: «Вполне». А Семен все корпел над учебниками. Вот вызубрит билеты, тогда и можно будет сидеть у костра, слушать про город, куда он поедет учиться. Цапля выхлопотал ему прием экзаменов в Пятом ленинградском медучилище в конце лета, все в один день, чтобы матери не отлучаться с острова надолго. Но Семен знал, что и без Суладзе бы поступил. Мать тогда еще пошла «благодарить Арчила Иваныча», они долго сидели у него в кабинете. Домой мать пришла бодрая, наэлектризованная даже.

– Сень, почаще на обходах с Арчил Иванычем бывай. Золотой человек.

От нее пахло коньяком. Семен обещал себе больше никогда не быть обязанным Цапле.

Когда привез старух, кока Тома с Женечкой держали в предбаннике совет, как быть с помывкой. Разнервничавшись, Женечка принялась икать. Кока Тома, решив, что та издевается, едва нехватила ее по спине палкой. Старухи вытянулись на лавках, отчего предбанник показался Семену покойницей. Свет замигал, погас, снова зажегся.

– Сень, вези, что ли, назад. Чего высиживать. Свет отрубят, как вчера.

– Да как не мымшиться! Вон волосы склизкие сделались.

– Ступай, мойся. Башку расшибешь, похороним. Будет хоть повод начальство к порядку призвать.

– Господи, что ж я в войну-то не подохла...

Кока Тома снова замахнулась палкой, на Семена пахнуло от ее подмышки. Он вскочил, с горящими ушами выпалил, что сам их намылит.

– И старух тоже! – добавил, чтобы закрепить свою решимость.

Кока Тома отнекивалась, но старухи каким-то ящерным слухом уловили в чем дело, завозились тощими кривыми пальцами по тужуркам, раздеваясь, ну точно как у врача. В помывочной, куда Семен все на той же тачке закатил их по очереди, рассадив по лавкам, было холодно. Остальные женщины давно помылись. Боясь, что и впрямь отключат воду, Семен разделся по пояс, скинул ботинки, носки, закатал брюки и отвернулся, наливая первую шайку: пусть готовятся пока, что ли.

Первой вызвалась кока Тома. Она приспустила юбку, трусы, Семену пришлось стянуть это все с ее недвижимых ног. «У меня там чистое с собой, потом надену», – непривычным извиняющимся тоном сказала кока Тома. Без кителя она оказалась меньше. Ее белое тело состояло из крупных складок, наплывающих друг на друга, как занавес в концертном зале Красного филиала. В стороны расходились и груди, оканчиваясь коричневыми сосками. Живот складкой прикрывал промежность, дальше с лавочки свешивались ноги. Кока Тома всю жизнь косте-

рила их как неживое – к ним у Семена не было любопытства. Да и остальные части тела тетки Семен воспринял как мебель, без тягостно-сладких позывов, которые накатывали по ночам. Он был деловит, уши остыли. Растормошил тетку на шутки. Обливал ее водой из бесконечных шаек, обернул простыней и отвез в предбанник, где Женечка уже кое-как разделась: ждала в простыне наискосок, прикрыв отсутствующую руку. Походила на картинку из учебника истории, безрукую статую с раскопок. Семен и его одноклассники, выросшие в Доме инвалидов, не понимали, чего такой шум вокруг битого мрамора, когда вон – люди без рук, без ног. И никто про них не пишет.

Женечку, плохо державшую равновесие, спотыкавшуюся на ходу, отнес в помывочную на руках. Сквозь простыню чувствовал, какая она горячая. Правой рукой Женечка обхватила его за шею, его пальцы легли на ее ребра, будто на клавиши аккордеона. На часах полседьмого. До ужина их надо всех домыть, отвезти назад, соображал Семен. Он уже и жалел, что влез. Вымыл бы одну коку Тому. Отец бы похвалил. Кто ему эти?

Принесся сразу несколько шаек воды, поставил их вокруг Женечки, стянул с нее простыню, невольно прищурил левый глаз – не смотреть на обрубок плеча, затянувшийся розовой, противной и тонкой на вид кожей. В остальном Женечка была как надо. Грудь держалась высоко, живот не отвис, вот только по низу его шел шрам, тонкий, длинный, кривой. Рука потянулась потрогать, он не знал, что такие бывают. Качнувшись, Женечка единственной рукой отбила его пальцы, те задели волосы на ее лобке, и от этого в штанах у Семена забило, как карась в сетке. Скорей отвернулся, взял шайку, облил Женечку, успевшую сесть на лавку и прикрыться руками. Стараясь не встречаться с ней взглядом, спросил: «Не горячо?» – хотя вода давно остыла. Женечка мотнула головой. Встав у нее за спиной, намылил ей волосы, огибая уши, как будто они могли сломаться.

– Ниже сама, ты только смой потом, – сказала Женечка, и он, выдохнув, протянул ей мочалку.

«Уйти мне, что ли?» – то ли спросил, то ли подумал Семен. Женечка намыливала себя одной рукой, раскачиваясь, как пьяная. Когда Семен окатил ее из шайки снова, оба молчали, когда обернул простыней на одно плечо – взяла его руку, приложила туда, где шрам.

– Кесарили меня, понял? Здесь у меня было уже с одним. Ребеночек не выжил.

Смысл до Семена дошел позже, когда намыливал старух. «Дуплетом», – пошутила кока Тома. Старухи благодарно кивали, их тела смущать не могли. Кожа просвечивала, морщась по-земноводному. На спине у одной черные пролежни, будто тело уже становилось сродным земле. Зато мытье наконец убило запах. Приторный, гнилой и невыносимо стыдный, оттого что человеческий.

* * *

– Это вам не аттракцион. – Ёлка делала вид, что возмущена, понимая, что последним аргументом туристов будут деньги.

Парни нависали над столом в ее кабинете с новенькой табличкой «Ландырь Е. С. Начальник турбазы». Из бывшей Воскресенской церкви, кирпичной, цвет которой дал название Красному филиалу, летели звуки марша – там репетировали концерт.

– Ну Елена Сергеевна, ну правда, нам еще три дня тут сидеть до парохода.

– Поддержи компанию, турбаза!

Тот, что играл на гитаре, кажется, Виталий, вчера звал в палатку и теперь подмигивал по-свойски, будто что-то было. Другой, рыжий, уже полез в карманы за деньгами. Отлично. Ёлка прикидывала, где им раздобыть халаты. Один Цапля забыл как-то у матери. Второй – ее. На рыжего налезет. Третий. Третий там где-нибудь найдет у нянечек. В конце концов, это просто больничная палата, самоварам уже за пятьдесят, чего они там соображают. Представит

парней интернами, и всего делов. Ну, в крайнем случае, выговор влепят. В Петрозаводске, куда она отправляла отчеты, своих забот хватает, на турбазе она полноправный начальник. Счета, снаряжение, все туристы на ней. В сезон сотнями повалили, года два вытерпеть – и соберется нужная сумма на кооператив. На распределении замдекана сказала: «У меня тридцать человек стоят за дверью, умоляют на Валаам. Ты местная, мать – туберкулезница, да вне конкурса пройдешь. Жопой крутить не придется даже. Первый кандидат на зарплату с надбавкой». Ёлка давно выучилась не слушать людей, она оценивала их вид. У тетки шарфик импортный, брюки вельветовые, духи. Если такая совет дает, значит, понимает.

Пять лет мать не видела, пока училась. Та писала ей длинные письма: сплетни, рыба, куры, огород, погода – отец добавлял в конце пару строк. Вроде того, что учишься там, в Ленинграде. Однажды прислал письмо отдельное, в нем деньги на дорогу и коротко, чтобы приехала, успела до ледостава. Деньги Ёлкегодились, отмечала свой день рождения, компания подтянулась такая, что в следующий раз, может, и не соберется. Еще до Нового года мать написала, что отец умер. С тех пор Ёлка вспоминала отца как фотокарточку – красивый светловолосый мужчина сидит на поваленном бревне, костюм какой-то странный. Отец говорил: ну не в телогрейке же было сниматься, вот мать и «откупорила свой сундук», когда фотограф на Валаам приехал. Ёлка тогда еще не родилась. Время было послевоенное, голодное. Потом сообразили, что отец в атласном жилете похож на кулака – запрятали портрет с рамкой вместе в тот же сундук. Ёлка просила мать найти, прислать портрет ей, чтобы в общежитии повесить. Спросят: артист? А она скажет: это папа.

Свадебных фотографий у родителей отчего-то не было.

Мать писала, на могиле табличку поставили, не памятник, отец завещал: «Нечего камней наваливать – не трать деньги». Шутил, если умрет до ледостава, сбросить его в Ладогу, рыбам. Справедливо выйдет: они его всю жизнь кормили.

А вообще – он был молчун.

Ёлка даже всплакнула дорогой из Ленинграда, перчатками за поручень на палубе схватилась, представила, как отец, молодой, в красивом жилете, проплывает мимо на спине. Отмахнулась от видения – решила мать сразу на отцовскую могилу вести: постоять, прибраться. Вот они пойдут через аллею лиственниц, обе стройные, в новых туфлях. Матери на югославскую пару разорилась, чтобы люди не судачили.

Теплоход шел быстро, Ёлка не успела мысли докрутить, вид правильный принять. Наскоро припудрилась. Причалили. На ней было синее платье. Любимые лодочки стучали по бетонке, показался кирпич старой церкви и дом родителей, словно уменьшенный. Все стало маленьким, низеньким. Прищурилась – высматривала, где стройка многоэтажки с канализацией, душем? Никакой стройки. Разве что палатки разбросаны вокруг, дымок вьется, мошकारа. Вытянула шею – под пяткой хрустнуло – каблук скособочился, держался на гвоздике. Чтоб тебя! Поднималась с причала босиком, ступеньки дно чемодана царапали.

Мать всплакнула, крестила по-шведски, двумя пальцами, задернув штопаную занавеску в васильках. А Ёлка думала: неужели она прожила тут восемнадцать лет? Отражение в старом плешивом зеркале над рукомойником: завивка, острые ключицы, синий воротник платья, – словно вырезка из журнала, на котором селедку потрошили. Мать, постаревшая сверх меры, уже прятала в шкаф подаренные туфли. Пахло дешевым мылом.

От туалета во дворе Ёлка отвернулась, пошла сразу на турбазу. Палатки туристов почти вплотную подступали к родительскому дому, администрация расположилась в старых кельях. Канализацию на турбазе устроили кустарно, с какой-то выделенной ямой, из которой «откачивали и увозили», как объясняли Ёлке, но это ее не касалось. Кельи снаружи освежили, побелили. Внутри поставили новые шкафы, городские двери с врезными замками. У нее в кабинете широкий стол, счета, бухгалтерские книги, вся канцелярия новенькая. Радио приятно мурлы-

чет. Зарплата в приказе значилась сто тридцать рэ, вдвое больше, чем положили ее однокурсницам. С жильем на острове оказалось неладно – это Ёлка уже в первые недели работы узнала. Заповедная зона, потому проект большой стройки лег под сукно. Канатка, соединяющая валаамские холмы, тоже отменялась.

В задачи Ёлки входило все. Встречать, выдавать палатки и снасти для рыбалки, принимать деньги, вести счета. Раз в месяц с теплоходом отправлять выручку в Петрозаводск. Еще просили «обогревать туристов» – в смысле посиделок у костра, чтобы создать настроение. Тему религии рекомендовалось обходить стороной, инвалидов называть «интернат», не распространяться. Контингент приезжал молодой, всё больше студенты, Ёлка от скуки выходила к ним вечером попеть песни, но за первый же месяц работы поняла, что люди это нищие, только волосы зря костром провоняют.

В конце июня ночи на острове стояли белые, туристы вовсе не спали, Ёлке мешали их песни, а потом, поутру, когда костры гасли, принимались горланить петухи. Ёлка зажимала подушкой уши, вертелась, кровать под ней скрипела на все лады. Мать начинала кхекать, захлебываться кашлем. Бодрилась, лишь когда заходил ее послушать Цапля. Ёлке потребовалось некоторое время, чтобы отучиться называть Цаплей Суладзе, главврача интерната для инвалидов. Все-таки не школьница, а молодой специалист. Мать говорила, он зачастил ее легкие проверять. Ёлка и сама замечала, что главврач заявляется по нескольку раз в неделю, остается попить чаю, приносит пастилу. Как-то пришел с коньяком, цветами, сидел торжественный, замуж позвал. Мать аж порозовела. Ёлка отказала: выйти за ровесника покойного отца и осесть на Валааме ей не улыбалось. «Дура, – сказала мать, когда Суладзе ушел, забыв на вешалке халат. – С туристами крутишь? Любовь пройдет, останешься в этом *jävla skit*. Тут все же врач, хоть и в тюрьме». Тюрьмой сильно обрусевшие шведы, бог знает как уцелевшие на Валааме, называли остров шепотом. По-западному. Не смягчая звук. *Турма*. Раньше, когда мать вдруг начинала ругаться по-шведски, отец прибавлял звук радио.

Ёлка встала, закрыла окно, покрутила ручку приемника, послышалась легкая музыка.

– Послушайте, Виталий, я не хочу выговор получить.

– Да мы же рассчитаемся. Шесть рублей, по три с носу, как в театр.

Ёлка выдержала паузу, потом кивнула: положите на стол.

Дорогой Ёлка зевала, поеживалась. За ней тащились двое с халатами в руках. Спустились в овраг, спугнув жирного дятла, тот простукивал поваленный ствол, лентясь подняться выше. Сырая сизая глина липла к сапогам, Ёлка отирала их о черничник, давя черно-алую ягоду. Парни взялись вспоминать, у кого кто на войне погиб, кто пришел раненый. На «инвалидном острове», как Ёлка звала Валаам, ее с детства кормили этими байками. Она не могла дожидаться, когда же последнего самовара свезут на кладбище и война, застрявшая тут, наконец закончится. Семьдесят четвертый на дворе, все-таки! Ёлка хотела танцевать, ездить на такси, пить коктейли, жить на курорте, где пальмы, где лето с апреля по октябрь. Жить. А не бегать в деревенский сортир.

На Лещёвом озере остановились покурить. Ёлка заприметила на той стороне хромого Ваську, рыбака. Поторопила своих, чтобы не подвалил с расспросами. Васька был веселый мужик. Но уж больно уродливый. Все лицо в черных оспинах. И глаза у него цепкие, все видит. Вон и сейчас рукой машет.

– Хватит дымить, – рявкнула Ёлка на экскурсантов, пошла быстрее.

– Леночка, вы нервная какая сегодня, может, это, принять для настроения?

Виталий вытащил из кармана бутылку портвейна. Ёлка посмотрела на него, как на тлю. В Ленинграде научилась отваживать кавалеров.

На Никольском филиале, видно, был тихий час или Суладзе все же запретил ходячим психохроникам прогулки. Ёлка, когда узнала, что они вот так разгуливают по острову, лично

ему пожаловалась. Тот сказал, чтобы она занималась своими делами. Не простил отказа, видно. Да и черт с ним. Дай срок, умрет последний инвалид – Цаплю быстро попрут из его богадельни.

Из распахнутой церкви пахнуло сырой штукатуркой и мочой, фрески облетели и засыпали пол, как листва. Там, в глубине, захлопала крыльями крупная птица. Рыжий, достав фотоаппарат, проматывал пленку. Ёлка велела убрать – этого еще не хватало.

– Халаты надевайте, быстрее!

Прошли в бывшие кельи, где за выкрашенными в коричневый дверьми обитали психохроники. Ёлка помнила, что тот контуженный летчик лежит за дверью справа. Один в палате, редкий случай. Покажет – и хватит с них. На вешалке в коридоре болтался еще халат. Ёлка натянула его, толкнула дверь в палату.

– Ох ты ж! – Виталий дыхнул на нее перегаром. – Он живой вообще? Лен?

– Дверь закрой, – приказала Ёлка рыжему, зашедшему последним.

– Он нас слышит?

Ёлка мотнула головой. Экскурсанты приблизились. Рассматривали спеленутого, как куколка, ветерана. Он занимал половину койки, на белом выделялось его лицо, заросшее щетиной, и синий ромб одеяла в прорези пододеяльника. Там, где кончался ромб – кончалось и тело. Взгляд как с обрыва падал. Виталий потянулся проверить, может, руки инвалиду просто примотали, как пеленают детей. Отдернул.

Ёлка хмыкнула. Она только сейчас обратила внимание, что летчик молодой. Будто ровесник ей. Ни одной морщинки. Если его прикрыть одеялами, чтобы казалось, что руки-ноги на месте, и то невозможно счесть его человеком, как все. Даже самоваром не назвать. У тех голова хоть работает, всё байки травят. Этот едва ли соображает. Небось и в зеркальце себя не узнает, если поднести – застывшая физиономия изредка моргала. Интересно, где его медали? Этим туристам награды еще подавай. Ёлка открыла ящик тумбочки, там лежал учебник анатомии за восьмой класс.

– Вы кто? – раздалось за спиной.

Виталий подпрыгнул, уронив на пол бутылку. Ёлка обернулась. В дверях стоял курчавый пацан лет пятнадцати с судном в руке. Халат ему был длинноват.

– Ты сам-то?

– Я санитар, тут работаю. Ну-ка, отошли от него!

Виталий уже запихивал портвейн в карман. Рыжий обернулся.

– Раскомандовался, – буркнула Ёлка. – Ты санитар? А это вот интерны из Ленинграда.

Изучают разные, э-э...

– Инвалидности! – подхватил рыжий.

– Инвалидности? Я сейчас сестру-хозяйку позову.

– Парень, ты не ори давай, – нашелся наконец Виталий, поднял глаза. – Сказано тебе... –

Виталий вдруг шагнул к пацану. – Сеня, ты?

– Я-то я, а ты вчера экономистом был, у костра-то. И этот еще, вроде метростроевец. –

Пацан обернулся к Ёлке: – Ты, что ли, их сюда приволокла?

– Не хами давай, я начальник турбазы вообще-то.

– Вот и проваливай на турбазу.

Ёлка поправила прическу, сняла мешковатый халат, бросила на пол, подтянула пояс платья на талии. Слегка улыбнулась пацану и вышла из палаты. Обернувшись из конца коридора, увидела, что пацан смотрит ей вслед, судорожно сглатывает. Виталий пытается ему всучить свой недопитый портвейн, видно, чтобы санитар помалкивал. По тому, как пацан поднял и прижал к себе ее халат, Ёлка поняла, что он Виталия не слышит. Была готова поспорить: стоит ей шелкнуть пальцами, этот санитар за ней собачонкой припустит.

* * *

На Оборонном острове, южнее на Валааме некуда, Подосёнов с Васькой стояли возле колодца, обложенного по периметру плюхами мха. Поверху сплелся дикий шиповник, не пускал заглянуть. Но даже в просветах черноты Подосёнову, стоявшему перед колодцем на своей тележке, считай, что на коленях, мерещился клад.

Еще в прошлом году его заинтересовала ржавая тройная колючка, опутывающая Оборонный, тонущая в лужах и снова выползающая на мох, – линия Маннергейма. Этим летом наконец добрались до самой вышки, замаскированной под сосну, – под ней доты, капониры, казематы, выстроенные крепко, будто с войны год прошел, а не тридцать.

Подосёнову тут легко дышалось.

На вышку Васька один поднялся на руках, ничего там, кроме обзора, не было. А в колодец Подосёнова решили спускать на лебедке – он сам мастерил ее, когда первый схрон обнаружили, лет десять тому, недалеко от Центрального филиала. Финны свое дело знали – первый схрон замаскировали, продолбив скалу метра на четыре вглубь. Дверца поднималась на вершок от земли, не больше, на своих двоих человек перешагнет и пойдет дальше, а Подосёновскую тележку качнуло, едва не опрокинулось. Так схрон и обнаружил. Взрывчатки в той землянке лежало столько, что все три филиала валаамских взлетели бы ласточками. Красный филиал они с Васькой обшарили, когда турбазы и в помине не было. Нашли винтовки советские, обоймы. Дичи непуганой настреляли. Одно плохо: филиалы обжитые теперь. То инвалиды, то турбаза раскинулась, экскаватор пригнали – канатку строить между холмами. Как сезон начинается, в бухтах дикари пристают, швартуются, костры жгут. Точно в кольцо Подосёнова норовят взять.

– Васька, а чего там турбаза? Канатка? Расширяться будут или нет?

– Семена спроси, – Васька подмигнул. – Он теперь там каждый день, Ландыря дочку катает на лодке. Сидит, как фарфоровая, наш ей чего-то толкует.

– Горючего и так в обрез.

Васька смолчал.

– Ты у старика Митрюхина узнавал, сколько за лодку и керосин должны?

– Да на хрена ему лодка, вместо гроба в нее, что ли, ляжет? У них, у поморов, как? Ушел на покой, лодку на берег выволок – ни жечь, ни продавать не положено. Кормилица.

Подосёнов достал нож, обрубил колючие плети шиповника. Отбросил их в сторону. Васька еще что-то говорил про поморов. Небось в палате нахватался – ему, сибиряку, откуда про здешний народец знать. Давно бы Ваське комнату выбить в Зимней – и жили бы семьей. Суладзе уперся: неженатые только в палатах, будто не знает, что Васька Подосёнову как сын.

– Командир, смотри, место самое подходящее. – Васька поднял палку, глаз прищурил. – Возьмем винтовку, Семена стрелять научим.

– Патроны где брать будем?

– Ты Финляндию собрался захватывать? Целый ящик с обоймами, если не отсырели.

Подосёнову стало тревожно: а что, если их тайник в церкви возле психушки все-таки нашли или вправду патроны отсырели? Штукатурка со стен там отваливалась, святые трещинами покрылись, лица побитые – точь-в-точь Васька.

– Сам же говорил, бабьим делом парень занят, давай пристреляться дадим. Ну хоть из моего наградного. Я с собой его таскаю – мало ли что, люди новые на острове появляются.

Камешек из-под руки Подосёнова упал в колодец. Звякнул. Подосёнов лег на живот и долго всматривался в темноту. Нравился ему соленый запах стылой скалы.

– Нет там ничего, – покачал головой Васька. – Зря время потратим.

Подосёнов не ответил, спустил в колодец фонарик на веревке, по одной стене шли скобы-ступени.

– Так что новые? Бузят?

– Нет, уж больно тихие. Подозрительно. Один, молодой самый, на собаку похож, такую масть чукчи выводили. Разноглазую. Красивые псины, но все равно волчья порода.

– Давай, спусти меня вниз.

– Жрать охота. Может, лучше Семена туда отправим завтра? Пацан шустрый, все тебе облазает.

Фонарик помигивал. Подосёнов молча обвязался веревкой – операции у него проходили в молчании, и тем острее пахло сырым песком, стывшим камнем, запертой в потемках пылью. Васька подчинился, как всегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.